

Живое прошлое

ОТТЕПЕЛЬ – ЗАСТОЙ – ВОСКРЕСЕНИЕ – ЗАМОРОЗКИ

С.С. Неретина
Институт философии РАН

Аннотация: В этой работе размышления о второй половине XX в. и первых двух десятилетиях XXI в. представлены через призму авторских воспоминаний, постольку и поскольку автор был участником описываемого времени. Сказанное стоит соотносить с книгой «Философские одиночества», статьями «Время переломов» (Политическая концептология. – 2023. – № 1) и «Инакомыслящие» (Философские поколения. – М., 2022). Размышления касаются прежде всего проблем отношения к прошлому, изменения и буксования сознания. Задача современности – соотношение мысли и действия с утраченными в археологическом смысле эпохами и надвигающимся новым, чему мы приписываем свои и унаследованные обычаи, знаки и символы, не зная их собственного значения. Осмысление этих проблем требует различения уровней активности: мгновенной реакции и незаметно происходящей смены образа мысли. Настоятельная потребность в такого рода различениях – знак глубокого общественного кризиса, нуждающегося в критической мысли.

Ключевые слова: оттепель, кризис, диссидентство, аутсайдерство, реакция, застой, революция, война, реабилитация, поколение.

Работа памяти, или что называть поколением

Повторю то, что уже писала в книге «Философские поколения» (М., 2022): людям нашего поколения или поколения, рядом и одновременно с которым мы жили, ставят мемориальные доски. 9 декабря 2016 года в городе Симферополе на доме, где родился и вырос М.Я. Гефтер, была установлена мемориальная доска и проведена первая международная конференция «Гефтеровские чтения», приуроченная к 75-летней годовщине со дня расстрела крымчаков и евреев, среди которых были его мать и бабушка.

За 3 года, прошедших после выхода книги, сумели – стараниями в основном К.В. Павлова – открыть в Бежецке памятную доску В.В. Бибихину, долгое время работавшему в Институте философии РАН

За это же время проводилось множество конференций, семинаров и круглых столов, посвященных и этим и другим достойным людям. Правда, есть «но». Состав конференций, семинаров, круглых столов практически не меняется. На состоявшемся в 2024 г. круглом столе, посвященном памяти Бибихина, одна из участниц спросила: почему в обсуждении не участвуют ученые, занятые исследованиями отечественной философии? Нет ответа. Один из участников готовящегося круглого стола, посвященного Гефтеру, почтав его работы, спро-

сил, изумившись, почему о нем не пишут отечественные историки. Нет ответа. Я могу повторить слова С.В. Ивановой, сказанной ею в рецензии на «Оттепель. События» С.И. Чупринина, что об оттепели мало слышно и хотелось бы, чтобы ее изучали миллионы. Но и здесь решающим словом остается «хотелось бы». Заметны или полная негация прежнего времени, или усталость от его постоянного напоминания. Ведь в общем и написано много, и осмысленно ярко и определенно, особенно в конце 1980-х – 1990-х гг. Но – скажу нечто для меня совершенно страшное – это остается или становится не связанной со знанием *информацией*, тем многознанием, от которого остерегали мудрые и которое никак не связано с той живой жизнью, которую мы проживаем.

Это ведет к тому, что идейная атмосфера советского периода, даже осмысленная некоторыми (многими), но отдельно взятыми людьми, по-прежнему остается всеобщей идеологической схемой жизни. Это означает разрыв реальности: от нее откалывается понимающая ее часть, оставляя пустые кажущиеся рациональными слова, наполняемые каким-угодно смыслом, и привычно-бессознательное следование «потoku сознания». Понимание этого разрыва означает, что произошла мифологизация этого советского периода, усиленная попытками развенчания «культы личности» Сталина, чему противопоставлялась правильная и честная когорта искорененных революционеров. Но это значит, что демифологизация вновь ставит на повестку дня анализ того, что представляет поколение, к которому я принадлежу – родившееся на кромке войны 1941–1945 гг. и прожившее четверть XXI в., то множество событий, сохранившихся в памяти, и эмоциональных состояний, сопровождавших интеллектуальные помыслы и их исполнение/неисполнение. Традиция объяснения происшедшего не оборвана, ее скрепы, каким-то образом понимаемые множеством и представленные *абсолютными*, требуют своего внятного объяснения, хотя не исключено, что при объяснении вновь, как в короткую оттепель, обнаружатся одни фантомы. Однако надо же как-то способствовать возникновению просто желания понять, чем и как живо было время, обосновавшее и наше.

Вопрос в том, способна ли я – свидетель определенных событий – адекватно представить их дух, рассказывая о них людям, в том числе молодым, которые ничего этого не видели и не могут представить себе масштаба каких-то действий, например, репрессивного аппарата. Ведь я могу из-за плохого, к примеру, владения языком, из-за неумения выделить главное, сообщая много попутных сведений, не соответствующих психологическому темпераменту собеседника, сделать рассказ... немым. Надежда лишь на то, что воспоминание – это волевой акт, а следовательно – живой. Он способен вызвать тоже живой акт мышления и привести в действие понимание связей события

Не случайно, что проблема поколений встала во время пандемии, во время вируса, когда *sub specie mortis* потребовалось вникнуть в то, что философам вроде Ж. Делеза стало очевидным давно. Смерть – критическая фаза жизни, а кризис всегда заставлял разбирать старое и новое, присутствие и отсутствие и не подлежащее времени.

Да и что считать поколением? Не отведенные же ему примерно 20 лет социологами? И не люди же, живущие «в одну историческую эпоху», ибо что считать *одной* исторической эпохой? Археологи по *опыту* знают, что в одном и том же раскопе могут соседствовать разные временные слои.

Х. Ортега и Гассет предлагает называть одним поколением только сверстников. По терминологии В.Б. Шкловского, поколение двойится на синхронистов – случайных спутников определенного времени, и современников – тех, кто живет в свое время. А для Б. Кроче сама современность – «внутренняя составляющая» всей истории, связанной с жизнью «отношением единства» и не абстрактного, а синтетического тождества [Кроче 1999: 176].

Б.В. Дубин считает точкой отсчета поколение моложе 30 лет, олицетворяющее переход от дня нынешнего к дню грядущему, что мало чем отличается – опять же – от средневеково-

го представления о тридцатилетнем Адаме, возраст которого равно отстоит как от жизни, так и от смерти. Дубин определяет такое поколение, «как форму (тип) социальной связи и фокус символической солидарности» [Дубин 2002: 12]. Эту меру простого и общепонятного социального сопоставления он, по-левадовски, считает искусственной конструкцией, в которых взаимопонятны социальные сходства и различия (ориентация, отношение к власти, к культурным предпочтениям, религиям).

Проблема начала – насущнейшая, к которой неизвестно, как подступиться и что принять за начало. Деконструкция и деструкция (воспользуемся этими наработанными терминами) здесь неизбежны, поскольку связаны с самой возможностью мгновенно изменить любое пространство (где могло уместиться 2 человека, теперь 1, при этом четко обозначена граница, где «ходить можно» и где «воспрещается»), в том числе сознание. Можно, помимо того, задаться вопросом, какие правила должны быть в мире, где живет множество людей – красивых и безобразных, социально адаптированных или отчужденных, не становится ли вера в возможность "голого биологического существования", общим топосом которого становится лагерь (для беженцев, детские лагеря, военные, даже туристические) «своего рода религией, востребованной не церковью, а наукой, которая также способна «порождать предрассудки и страх» [Агамбен 2020].

При таком положении термин «поколение», по-прежнему сохраняя метафорический характер (это хорошо показано в «Generation "П"» у В.О. Пелевина), одновременно вновь приобрел и четко возрастной параметр: 65+ жестко без испрашивания на это согласия было заперто в домах, да и остальные, иногда бесконтрольно, ограничены в передвижениях. Меры защиты воспринимались как меры ущемления прав человека. Единственное, что остается в неприкосновенности, это идеология, которая сохлась до одного деления: *демократы и прочие* (почти по А. Платонову).

Меня всегда удивляло, что со времен Аристотеля мы перечисляем одни и те же способы и типы властвования. Не говорит ли и это о том, что в целом человечество со всеми поколениями, вместе взятыми, консервативно, а то, что принимается за революции, – на деле тяжкое, насильственное спрямление то и дело искривляющегося движения? Сменяются поколения, оставшиеся и народившиеся из обрывков их мыслей и идей (подлинных мотивов их возникновения уже не узнать), одобренных собственными комментаторскими или новаторскими, творческими интеллектуальными усилиями, создаются мифологии или рациональные системы, представленные как существенный фактор общечеловеческого развития.

Таким образом, говорить о поколении не трудно, а почти невозможно, ибо в каждом возрасте, равно и в индивидуе, как в матрешке, собран мир, собрано все. Это чисто концептуалистское утверждение дает мне право говорить о моем поколении или окружении как о двух (трех, четырех) в одном, не говоря уже о бесконечных делениях внутри такого поколения, ибо наряду с людьми, освободившимися или освобождающимися от пут идеологии, были те, кто ее, идеологию, не только поддерживал, но с исступлением преследовал освободившихся или освобождающихся от нее.

1950-е – 1990-е годы – это откровенная сшибка двух (минимум) групп внутри одного поколения. Когда сейчас говорят: лишь пенсионеры голосуют за Ленина-Сталина, за все самое анахроничное, это значит: не делать даже попытки понять смысл и суть происшедшего и происходящего в ныне живущих людях. Это такая же неразборчивость в выражениях, в понимании, какая и прежде была у руководителей партии и советского правительства. Но это значит и то, что новые тридцатилетние с нами пытаются распрощаться, даже не узнав нас. Разрыв с традицией в нас сильнее, чем связь с нею. Не исключено, что ее поэтому пытаются восстановить любыми средствами, не зная, впрочем, что именно и как восстанавливать.

Ностальгии.net

Я застала реально семь стадий жизни нашего общества: поздневоенно-послевоенно-сталинскую, оттепели, застоя, перестройки, 1990-х и напоказ-воинственно маскарадную, гибридную нынешнюю. Каждое время имеет свой цвет.

У первого цвет старых фотографий – с нарисованным фоном, с какими-то жардиньерками для красоты, вазонами, позирующими людьми. Эти вазоны и жардиньерки – украшение нашей бывшей, не совсем красивой, а часто и совсем некрасивой жизни. Даже когда мой отец вернулся с фронта, мне показалось, что он стоял в дверях в черной форме, чего быть не могло. Деревянный дом с четырьмя подпорками безо всяких удобств и рядом другие деревянные дома. В окне одного из них всегда стоял Шурка-сумасшедший, вернувшийся с фронта навеки «тронутым». Девушки в беретках вели за веревки аэростаты. Дровяной склад, перегородивший переулочек. Кирпичный дом в переулке, один-единственный среди мещанских деревянных с геранями на подоконниках, в подъезде которого на верхней балке торчал кусок обрезанной веревки, на которой повесилась женщина: к ней не вернулся с войны муж, потому что там завел себе другую. Игры в штандор, казаки-разбойники, двенадцать палочек, салки, классики, беговую и круговую лапту, расшибалочку, прыгалки, ножички, которые метали внутрь нарисованного и нарезанного на секторы круга и мальчишки, и девочки на голой дворовой земле без травы. Мячик об стенку, если на улице, или о дверцу гардероба, если дома. Мать ходила на Бутырский или Тишинский рынок продавать или менять вещи, ибо отцовского аттестата не хватало. И на всю жизнь – запах американской тушенки и курицы.

Это – первые, еще «военные» впечатления. К серьезным относился мой поход, видимо, с кем-то из взрослых на Садовое кольцо возле площади Маяковского, чтобы смотреть, как вели пленных немцев. Для меня было как кадры из кинофильма, будто из экрана наружу высыпало много расстегнутых, без погон, в пилюльках военных, только не бравых, а индифферентных, которые шли в сторону Курской. Мне говорили: их вели в противоположную сторону. А я узнала, что их вели сначала в одну сторону, потом в другую.

Сейчас военные дети – предпоследнее поколение (а последнего – единицы), что еще помнит войну в ее тыловой форме: жизнь с одинокой матерью дома, с беспризорными детьми на улице. Мы не знали, что мы «военные», поняли только тогда, когда нас стали нормально кормить, когда мы смогли нормально мыться и одеваться, а не раз в неделю в противных банях с обязательными байковыми халатиками.

Старые деревянные дома или каменные с подвалами или полуподвалами были символами нищеты, но эти символы были тождественны реальности. Огромное количество стихов, посвященных Сталину, – тоже символы, но они были откровенной поощряемой лестью и враньем, они были пародией на жизнь, даже если их авторы питали искреннюю любовь к вождю, из которой пытались сотворить миф. «На дубу зеленом да над тем простором два сокола ясных вели разговоры. Один сокол – Ленин, другой сокол – Сталин, а кругом летали соколята стаей». Но дети тоже считали это реальностью. Не удивительно, что в школьных программах по литературе не было символистов, акмеистов, имажинистов, абсурдистов, формалистов, что поколение школьников конца 1940-х – 1950-х годов практически не знало А.А. Блока, А.А. Ахматову, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаеву, С.А. Есенина. В.Б. Шкловского узнали позже. О А.И. Введенском, Я.С. Друскине, Л.С. Липавском, Д. Хармсе и не говорю, их и сейчас мало знают. Они не участвовали в нормальном литературном процессе, и нынешние воспоминания не вернут их участия, неучастие ощущается как дыра на видном месте одежды.

Этот быт хорошо воспроизведен в фильме «Прощай, шпана замоскворецкая» – сатиновые или байковые чаще всего темносинего цвета шаровары с резинками у щиколотки, с курточками на молнии, кепочками у бритых наголо мальчиков и косичками с бантиками, беретками или вязаными шапками у девочек. У шапок были фасоны. Например, шапочка «я у мамы дурочка» была похожа на современные наушники, с вязаным верхом. Или были шапки круглые как шары, белые, с красивым пухом до первой стирки и с длинными ушами. Это внешнее обличье очень бедного быта, в котором была учеба, книги, взятые в библиотеке, подготовка уроков и безудержное фанатичное катанье на коньках.

Французские булочки, печенье «Петифур», множество сортов хлеба, сушек-баранок. «Черная кошка» была не киномыслом, она располагалась не только в Марьиной роще, но и ютилась, например, в подворотнях Приютского переуллка, куда нам запрещали ходить. В нашем переулке возле одного из окон сидел сапожник и брал заказы на тапочки, которые шил из разноцветных лоскутков кожи. Здесь жили рабочие и низшие служащие, среди которых, правда, иногда обнаруживались и средние, и высшие, и даже старые большевики: в доме «Россия» на Лесной улице жил дядя моей одноклассницы – матрос с «Авроры», а неподалеку от серой сплошной стены Бутырской тюрьмы примостился музейчик подпольной типографии, укрывшейся под вывеской «Оптовая торговля кавказскими фруктами», где по семейной легенде работала моя бабушка и откуда я не получила ответа на свой запрос о ней. Это тот случай, когда история предстает сконцентрированной в моей памяти как история поколения. Моя бабушка воплотилась, несмотря на отсутствие документов, утраченных во время эвакуации, в другой документ, документ моей памяти. История и хроника, как считал Кроче, взаимопереходны. «Большая часть истории для нас сегодня – хроника («мертвая история». – [Кроче 1999: 179]), многие документы пока молчат, но под действием витальных импульсов когда-нибудь заговорят» [Кроче 1999: 181]. Рассказ о поколении – такой заданный импульс.

В витринах богатого «Гастронома» № 1 в начале ул. Горького (ныне Тверская-Ямская) лежали серебряные шары, на самом деле – шоколадные, обернутые в фольгу, раз в пять больше современных киндер-сюрпризов, а внутри лежали бирюльки – чайные чашечки, блюдечки, самоварчики. Шар – предмет вожделения, о нем и говорить нельзя было, разве что похвалить, но в принципе это было нечто для многих недостижимое, хотя многие их и не видели. На лотках в магазине «Грузия» лежали на гофрированных салфеточках трапециевидные крымские яблоки, желто-зеленые с румяным боком. На нас глядела другая жизнь, с нашей не пересекавшаяся. Первый не слишком осознанный намек на социальные различия. Впрочем, не на богатых и бедных, а на элиту и простонародье.

В нашей Зуевке (дом культуры им. С.М. Зуева, а тогда просто ближний клуб, о котором никто не говорил как о памятнике конструктивизма) шли трофейные фильмы, затем в начале 1950-х египетские с прекрасной Фатен Хамама, индийские с РаджКапуром (так его звали, в одно слово): «Бродягу» не знал только ленивый или новорожденный. Это времена нашей дружбы с какой-либо прежде колониальной страной.

И, конечно, итальянский неореализм.

Большинство при переселении из подвалов и ветхих домов получили не квартиры – комнаты в светлых больших домах. В 1950-е годы количество комнат в новой коммуналке не превышало трех. В нашей семье переселение произошло, когда я училась в восьмом классе, и нам дали комнату на троих в десятиэтажном доме (я считала его почти дворцом) на будущем Ленинском проспекте. Он, этот дом, стоял один, напротив деревни Семеновской, где был клуб и куда нас с Галей Польских мальчишки не пустили в кино. Мне иногда хочется найти кого-нибудь из них и спросить, узнали ли они, что снежками отогнали от клуба будущую народную (кино)артистку Советского Союза?

Стою ли я у твердого порога?

То поколение, не знавшее интернета, все еще можно обозначать, как это делается в генетике, буквами Р (родители) и F (дети), хотя на протяжении жизни этого поколения технология менялась радикально: телевидение, вызвавшее шок. Любимые радиопередачи «Театр у микрофона» и «Клуб знаменитых капитанов» сменили спутники Земли, Лайка, Белка и Стрелка, а потом и человек в космосе. Цвета колоний, доминионов и метрополий перекрашивались на контурных картах в иные цвета – независимых государств *третьего мира*, – все это не просто увеличивало скорость информации, это увеличивало сам мир: *первым* были США и его, в тогдашней терминологии, сателлиты, *вторым* – СССР и социалистический лагерь. Понадобилось еще лет двадцать, пока К. Поппер не спутал это деление, назвав третьим миром мир культуры, первым – физический, вторым – мир сознания. Но термин «третий мир» и до сих пор остался в политологии. Это сейчас весь мир в зоне доступа. А тогда наше поколение в «большой» мир только начинало входить, удивлять и удивляться, как бы заново рождаясь на свет.

Википедия перечисляет десять имен поколений века, находя им не во всем адекватные названия: *потерянное*, к которому Гертруда Стайн относила поколение после первой мировой войны и к которому некоторые относят почему-то поколение 1880-х – 1899-х годов, затем почему-то *великое* (1900–1919, не из-за участия ли в революциях и гражданских войнах?), и почему-то *молчаливое* (1920–1939), наше (1940–1959) названо *беби-бумным*, включившим в себя сексуальную революцию, а далее последовательно X, Y, Z – хорошо еще не цифры. В.О. Пелевин написал о «Generation "П"», и мало ли кто еще назовет или уже назвал свое поколение новым словом! «Мое» поколение я бы назвала *инакомыслящим, диссидентско-перестроечным* не потому, что все стали диссидентами, а потому, что именно в нем зародилось это движение, оказавшее огромное влияние практически на все население страны. Главным в этом движении¹ было ощущение и стремление к свободе, свободомыслию, что было фактическим вызовом философии, когда стали интересоваться даже этимологией термина «свобода» в его русском, латинском и греческом изводах². Потому в перестройке 1990-х годов те, кто родился в Тридцатые – Сороковые годы XX в. участвовали полностью.

Как начиналось это поколение (по собственным впечатлениям)?

Я не помню в нашем кругу критических разговоров о происходящем в стране в конце 1940-х, и не потому, что была мала, а потому что первое время была послевоенная эйфория. В застольях поднимали тосты «за Сталина», как «за тебя, Лёль!», ибо его воспринимали как члена семьи, что и было на деле тотальным неосознаваемым проникновением в частную жизнь властного компонента. Сторонники непрерывности исторического процесса называют это атавизмом царских времен. Но тотальность такого рода образовалась вследствие других причин – спайки личного и коллективистского сознания при отрицании индивидуальных свобод, контролируемых государством. Может быть, это и было атавизмом, но тогда надо

¹ Скорее все же направлением ума, заставлявшем активно участвовать, если не политически, то профессионально во внутреннем и внешнем оздоровлении страны.

² В то время известность приобрел словарь: [Chartraine 1968–1970]. История греческих слов здесь увидена как бы изнутри, показывались переходы (переводы) терминов из одного региона их употребления в другой, от микенского периода до современного греческого языка. Так, корень слова *ἐλευθερία*-свобода, от которого происходит и славянское «люди», означал первоначально не отсутствие ограничения для выбираемого пути, а развитие, будучи метафорой (автор словаря ссылается на исследования Э. Бенвениста) вегетативного роста людей, родившихся и развивавшихся вместе. Свобода была принадлежностью людей, этого конкретного народа, не пришельцев и не рабов (выражение «мы – не рабы» не случайно), своим собственным, что было очень важно для понимания самого чувства свободы, проявившегося у поколения, которое сейчас называют Шестидесятниками. Не случайно тогда возникшее внимание к древним культурам. См. об этом также: Romano 2019.

признать, что и индивидуальной свободы, прокламируемой Октябрьской революцией, не было. Случилось перераспределение власти.

Антисемитизм – говорили ли так? «Космополит безродный» – это было, и было – жид. В ходу был стишок «не хочешь быть антисемитом, ругай жида космополитом». В обычных мещанских семьях евреев не жаловали, на улицах дети говорили про детей: «Жидовка пошла». Это произносили так же, как «а у тебя мать толстая!» Не думаю, что дети, которых так дразнили, это воспринимали так же – *почти безразлично*, но я, русская, лишь в старших классах стала давать отпор любителям таких слов и даже не из-за моих подруг-евреек, а потому, что стало очень противно: все же нас воспитывали – хотя бы напоказ – интернационалистами, если принимать всерьез заявленное, например, в Уставе комсомола, а мы в то время это воспринимали всерьез. Я в комсомол вступить хотела, так как хотела быть в первых рядах.

В самом центре Москвы, в доме № 3 по ул. Горького рядом с рестораном «Националь», жила семья моего будущего мужа. Это была добротная еврейская семья с папой юристом и мамой домохозяйкой, все понимающая и имевшая среди множества знакомых таких же все понимающих, хотя никогда громко не высказывавших свое всепонимание. Лозунгом отца было трехзвучие: ЦБТ, «чтобы было тихо». Близкий семье режиссер Тед (Теодор Юрьевич) Вульфович, прошедший войну в разведывае, создатель замечательного фильма «Последний дюйм», написавший ряд превосходных военных повестей, ухаживавший за румынской девушкой и приводивший ее *в то опасное время* в их дом, хранил трофейный пистолет. Узнав про готовившиеся вагоны для высылки евреев, сказал: «Не позволю». Более того, создавал, как он рассказывал (в том числе генералу Д.А. Драгунскому), отряд самообороны.

Я не жила среди людей аполитичных, скорее наоборот: бабушка была большевичкой, это в ее квартире мы жили. Ей за ее заслуги дали четырехкомнатную квартиру, и она поделила ее между своими детьми. Но я не помню, чтобы кто-то хвастался ее большевизмом, хотя она вроде бы еще на Красной Пресне отличалась. Спасла семью старшей дочери, моей тетки и одновременно крестной (они были пассивно верующими). Ее мужа отправляли в северную ссылку, и она посоветовала им развестись: «А потом мы как-нибудь его вызволим». Он отбывал ссылку, а моя тетя осталась в Москве с четырьмя детьми. Когда он вернулся, они не стали возобновлять запись актов гражданского состояния и прожили вместе до почтенной старости, забыв, что официально не женаты. Вспомнили, когда тете после смерти мужа надо было оформлять пенсию. Свидетелей к тому времени не осталось: ей было к девяноста. Свидетельствовали по решению судьи дети. Бабушка умерла в 1936 г. своей смертью, от рака.

В семье политику Сталина не осуждали, не восхваляли, но воспринимали как данность. Из детей впоследствии только мы с сестрой стали отщепенцами, т.е. не членами КПСС, ибо членство в партии считалось знаком качества. Я не хотела вступать в эту организацию даже не из-за ее программы или ее действий (примерно до 7–8 класса знала только, что партия – наш рулевой), но я никогда не стала бы в мою личную жизнь вмешивать огромный коллектив: «ты людям все расскажи на собрании» – это не для меня. В школе же были учителя, которые жизнь готовы были отдать сей же час, если партия прикажет.

В эти годы жизнь проходила скорее в некоей аморфной среде, среди «большинства», не слишком отяжелявшего голову платоновскими мыслями, какой вид государства лучше. Большинство же принимало политическую жизнь такой, какой ее предоставляло время, пассивность в этом отношении была очевидной, активность проявлялась во внеполитическом выживании: что-то достать, выкроить деньги на ботинки, перелицевать пальто, остальное – «не наше дело, как говорится, родина велела», все были ни в чем не виноватыми простыми солдатами.

Мне было почти 12 лет, когда умер Сталин. Я знала, что он – вождь, но по большому счету не понимала, что это такое, искренне выполняя какие-то ритуальные действия: например, сходить в музей подарков к его 70-тилетию. Я спокойно отнесла его светлый лик из дома в школу, когда учительница спросила, нет ли у кого фотопортрета Сталина: просто сняла со стенки и отнесла, и мама никак не отреагировала. Рыдания по поводу его смерти казались всеобщими. Старая учительница математики сказала, что мы теперь должны лучше учиться. Но я всегда хорошо училась и хотела учиться, мне не надо было стараться. Мои кузены пошли было на похороны, прихватив меня, но я на Трубной потеряла галошу, и мы вернулись. Фанатизма не было, однако была твердая убежденность, что жить надо по-сталински.

Узлы жизни: «мы узнаны и развязаны для бытия»

Все, однако, изменилось сразу. Отпустили уголовников, они расплылись по Москве. Мимо меня однажды, как смерч, прошел высокий человек в старой шинели и с угрюмо-впередсмотрящим лицом, едва не сбив с ног и не повернув головы, так что стало жутковато. Арест Берии, о котором говорили на всех углах, был для меня арестом «еще кого-то». Бóльшее впечатление произвело то, что обучение с 1954 г. перестало быть отдельным и нас стали тасовать по школам.

1956 год. Это была уже оттепель.

В этот год в наш класс поступила очень красивая девочка, вернувшаяся с папой-военным из Венгрии. Мы (несколько человек) обступили ее: что там? как там? Она только улыбалась. Не сказала ничего, кроме каких-то банальностей. Между тем революция в Венгрии перекроила нашу жизнь – жизнь тех, в чьих семьях политика не обсуждалась. Слушали по радио и видели через линзу телевизора, купленного одной из маминых сестер, передачи про кровавого Имре Надя, но зарубка осталась, поскольку это случилось, как считалось, в одной из братских стран народной демократии. Я тогда и слыхом не слыхивала, что за протест против слабого информирования об этом событии был арестован и отбывал лагерный срок будущий ближайший друг Александра Павловича Огурцова, ставший впоследствии и моим другом Эрик Григорьевич Юдин, устроивший меня после разгона сектора методологии Гефтера в Институт технической эстетики на ВДНХ.

Венгерская революция случилась в конце 1956 г. А в его начале, в феврале 1956 г. был XX съезд партии, практически изменивший нашу жизнь.

Семьи стали увеличиваться и распадаться: возвращались из лагерей отцы, которые до того считались – у кого как – пропавшими без вести, погибшими, разведенными, умершими... Они не всегда могли вписаться в существующую жизнь своих близких. Началась, но только началась реабилитация. Мы однажды обступили нашего учителя истории, впоследствии знаменитого по Москве Леонида Исидоровича Мильграма, просили разъяснить нам смысл XX съезда: ничего, кроме затасканного, прочитанного в газетах и уже появлявшегося в рассказах вернувшихся людей, он нам не сказал – лишь про по-прежнему руководящую роль партии, которая признала свои ошибки. К тому же проводил «разносные» комсомольские собрания. Одна из моих одноклассниц, с которой это случилось, до недавнего времени, он еще был жив, хотела ему позвонить из Америки и напомнить про этот никем не требуемый, но почему-то (по инерции?) нужный разнос.

Спрашивали его мнение о книге В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым» о разгроме генетики – тоже было одно мычанье. Семья Дудинцевых переехала в соседний дом, его дочка Люба училась с моей сестрой в одном классе (потом даже какое-то время жила в нашей с мамой комнате), он даже приходил к нам в школу, где ожидал вопросов о книге. Обсуждения не получилось, представили его как известного писателя, дочь которого с нами училась. Мы

предпочли ходить к ним домой в надежде кое-что выяснить. Но *о том, что было, все как-то глухо молчали или всё стусевывали* по разным причинам. Одни в силу партийной дисциплины, другие не хотели нас травмировать, третьи хотели, чтобы мы не знали о прошлых ужасах. Мы, школьники, должны были докапываться до всего сами.

Прежде всего хотелось узнать, что это такое: культ личности (это была метафора периода репрессий классовых врагов, не только «буржуев недобитых», но и крестьянства, рабочих, интеллигенции, способствовавших смещению всех слоев общества), почему его разоблачали те, кто этот культ возвеличивал. И откуда вдруг появились люди – не лагерные, их мы уже видели, – а те, кто стал писать неведомые книги о событиях, случившихся при нас, но нам неизвестных, явивших миру имена людей, о которых, если родители или знакомые не говорили, прежде не слышали. Чтение книги Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» было настолько жадным, что критики его, даже верно указывавшие на ошибки, пропуски и просчеты, не воспринимались или воспринимались неохотно. Мир увеличивался на глазах, как и мысль.

По чтению «Нового мира» (в основном), по «Юности», по самиздату, а затем тамиздату, по песням (Галич, Окуджава, Высоцкий, Ю. Ким, Н. Матвеева), по кухонным разговорам, по выходу из кухонь на ближайший двор, бульвар, парк, когда кухни стали прослушиваться, узнавали «своих» и возмущались, когда цензура кому-то из них выламывала руки.

Она выламывала руки и старым, уже известным писателям и поэтам, и новым, и в оттепель, и в застой. Что же отличает оттепель от застойных времен?

Оттепель (ее называют «хрущевской») – это ослабление идеологического зажима и репрессивных мер, выразившееся в отмене многих расстрельных статей, ликвидации ГУЛАГа, сопровождающейся освобождением заключенных в том числе по 58 ст., реально – осуждение тоталитарного режима. Но оттепель на то и оттепель, что она – парадоксальна: она успела нас заразить свободой. Хотя черно-белый Хрущев, на XX съезде КПСС выступивший против культа Сталина, все-таки умудрялся вводить высшую меру за преступления, которые он считал непростительными, как это было, например, в случае с фарцовщиками Я. Рокотовым, В. Файбишенко и Д. Яковлевым в 1961 г., а то и войска, как в 1962 г. в Новочеркасске против вышедших на площадь рабочих. Своевольная позиция кнута и пряника.

Повесть И.Г. Эренбурга «Оттепель», давшая имя периоду политической разморозки, длившемуся то ли одиннадцать (1953 – 1964), то ли двенадцать (1956 – 1968), то ли пятнадцать лет в зависимости от точек отсчета – от смерти Сталина и до осуждения Бродского, от XX съезда до вторжения в Чехословакию или от смерти Сталина до вторжения в Чехословакию, вышла в 1954 г. Но еще до этой повести в журнале «Новый мир» (1953. № 10) было опубликовано стихотворение Н. Заболоцкого «Оттепель после метели...», когда до XX съезда, где была произнесена «секретная» речь Н.С. Хрущева о советском терроре, оставалось еще три года.

Об оттепели написано много. Наиболее интересна для меня оказалась только что вышедшая книга С. Чуприна «Оттепель. События. Март 1953 – август 1968 года». Вторым эпиграфом к книге взяты упомянутые стихи Заболоцкого, а первым – десятикратно повторенные строчки «А мы просо сеяли, сеяли... А мы просо вытопчем, вытопчем...» Это – документы, т. е. то, что имеет дату возникновения события (сева ли, вытаптывания).

Перечень писателей и поэтов, откликнувшихся на смерть Сталина, позволяет представить, сколько из них и кто по-разному затем совершал подвиг вытягивания себя за волосы, как Мюнхгаузен, из жуткого, репрессивного, идеологически оправленного морока.

Оттепель не означала умаления советской власти, она означала усталость от крови, от человековычеркивания. Отсюда ослабление узды: смягчение цензуры, изъятие из Уголовного кодекса термина «враг народа» и политические шаги, о которых надо бы помнить нынеш-

ним поклонникам вождя, – вынос тела Сталина из мавзолея и одновременно наступление на церковь: шла двусторонняя борьба с культом.

Мерки социалистического реализма перестали быть нормативными, возник андеграунд. Естествознание и гуманитаристика осознали себя как разные способы мышления (физики и лирики), взаимодополняющие друг друга. Дозволили «ссылным» народам вернуться в родные края – эта высылка дает о себе знать до сих пор.

Послабления – хотя бы количественно – были очевидны. На ослушников кричали, травили (Б.Л. Пастернак), грозили изгнанием из страны, но не изгоняли. Литераторов «брали» не за смысл писания, а за отказ или приписать себя к какому-либо официальному органу, за нежелание быть крепостным, ибо вольный поэтический труд трудом не считался (И.А. Бродский). Они включали свой мир во всеобщий мир, отвергая и холодную, и горячую войну, делая свое писательское знание достоянием мира, а себя – гражданином мира (Ю.М. Даниэль и А.Д. Синявский, которых судили по принятой в 1960 г. 70 ст. Уголовного кодекса, заместившей 58 ст., за антисоветскую агитацию и пропаганду).

Открытия нового качества существования в мире и информационный вброс, вполне осознанные нашим поколением и произошедшие благодаря здоровым силам старшего, родившегося в начале XX в., были грандиозны, усиленные вроде бы внешними, но распаивающими мир событиями. Появились неидеологизированные фильмы, в которых, конечно, героями были комсомольцы или партработники, но не они представляли основной их интерес. Первыми или почти первыми оставившими впечатление были «Разные судьбы», чуть позже веселая, шутливая, радостно-открытая «Карнавальная ночь», вызывавший дрожь и тяжелое молчание «Обыкновенный фашизм», «Девять дней одного года» М.И. Ромма, еще чуть позже «Застава Ильича» М.М. Хуциева. Во время фестиваля молодежи и студентов 1957 г. и во время кинофестивалей показывали гениальные «Восемь с половиной» Ф. Феллини, «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» С. Поллака, «Благослови зверей и детей» С. Крамера, «Большое колесо» с Отто Фишером, «Мы – вундеркинды» Курта Хоффманна и его же «Привидения в замке Шпессарт», «Затмение» М. Антониони. Шок вызвал музыкальный конкурс П.И. Чайковского, когда взлетело имя Вана Клиберна (sic!). Был почти физически ощутим гул новизны открывшегося «Современника», «Театра на Таганке», поэтических концертов новых поэтов Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского, от поисков пластинок с песнями Битлз, от поисков позывных радиостанций «Свобода» и «Голос Америки».

К тому же: американская выставка, чешская, польские ансамбли, открытие магазинов «Ванда», «Лейпциг», «Будапешт» и пр. Все это воспринималось бурно, носило ярко очерченный характер вызова. Стиляги, легкомысленные, но, слава богу, без всякой идеологии песенки типа «Мишка, Мишка, где твоя улыбка» – это реакция на открывавшийся новый мир. Джаз, твист, фокстрот, толстые из белого каучука подошвы ботинок, белые шарфы у парней, брюки, туфли на шпильках у девушек – яркое внешнее проявление иной жизни вызывало яростную критику именно потому, что открывало простор – вполне философски – «жизненному миру». Мой друг-кинорежиссер Файк Гасанов, вскоре, к сожалению, погибший, украл, как ему казалось (хотя никто не запрещал брать), со стенда американской выставки «В поисках потерянного времени» Марселя Пруста и долго ни о чем другом не мог говорить.

В этом, казалось бы, сугубо частном факте (но таких была масса) выразился межпоколенческий прорыв. Пастернак в 1925 г. на форзаце книги «В сторону Свана» сделал выписку из письма Р.М. Рильке о смерти Пруста. А в 1958 г. к своей последней книге «Когда разгуляется» Пастернак возьмет эпиграф из «Обретенного времени» Пруста. Разрыв между этими двумя датами как раз и обозначил культурный провал. То есть *разрыв произошел не между «отцами» и «детьми», а между двумя состояниями культуры, в которых оказались и «от-*

цы», и «дети». Между этими культурами пролегла война, в том числе гражданская – с литературой.

Сохранение старых историко-философских вузовских программ стало перевешиваться программами, мгновенно предложенными писателями и художниками нового концептуального стиля. Слова, произнесение слов, выражение их становились другими, формируя новое сознание. Общая художественная гуманитарность перевешивала ту – специфическую – философию, что по своей природе призвана определять принципы бытия и мышления, показывая силу рассуждения, логику, нравственный поступок. Эта сила еще не пробудилась. Идеологические шоры марксизма-ленинизма были на глазах самых лучших философов [см.: Тищенко 2018: 21–24; Ахутин, Берлянд 2020: 128–134].

Оттепель вызвала к жизни множество журнальных публикаций в «Юности», «Иностранной литературе», «Новом мире», а после разгона его редакции в «Дружбе народов», которые мгновенно становились бестселлерами, за ними охотились, их «доставали», имена Василия Аксенова, Бориса Балтера с его «До свидания, мальчики» стали титульными. Были опубликованы воспоминания неожиданного В.П. Катаева («Алмазный мой венец» и «Святой колодец»), конечно, «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» А.И. Солженицына (его имя было на слуху у всех: у левых и правых, коммунистов и антикоммунистов), «Лето в Сосняках» А.Н. Рыбакова (считается, что она была не воспринята читателем, а я ее всегда помнила), рассказы В.М. Шукшина, повесть «Семеро в одном доме» В.Н. Семина, «Мертвым не больно», «Круглянский мост», «Сотников» В.В. Быкова, «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» Ю.Н. Трифонова (эти произведения, правда, появились уже в начале застоя, как и «Сотников», но вспоминаются вместе с теми, оттепельными), драматургия А.М. Володина... Чуть позже появилась едкая проза И. Грековой (псевдоним математика Е.С. Вентцель: она отъединила в псевдониме букву «и» от «игрека»). И, конечно, Б.Ш. Окуджава, его «Возьмемся за руки, друзья» считалась гимном советской интеллигенции. А.А. Галич, В.В. Высоцкий, бардовские песни Ю.Ч. Кима, Ю.И. Визбора и многих других. Но они уже были «нашими», с некоторыми мы были знакомы. У меня хранится книга И.М. Губермана «Чудеса и трагедии черного ящика», подаренная писателю И.И. Дуэлю после нашего переезда на новую квартиру с такой надписью: «Тёзке от тёзки, коллеге от коллеги, большевику от попутчика, клиенту от грузчика – с симпатией». Думали, что уж кого-кого, а Окуджаву будут слушать всегда, но ни по «Арбату» не ностальгируют, ни по прогуливаемому Александру Сергеевичу. Зато – или мне кажется? – заново всплывает поэзия Д.С. Самойлова, Ю.Д. Левитанского, Б.А. Слуцкого... И уже сорок лет прошло с его смерти, а – поется Высоцкий. Заряд, который сконцентрировал в себе напряжение нашего поколения, оказался забитым туго.

Но еще до них тайными, можно сказать, героями стали люди, не всем известные, в основном ученые, о которых узнали уже в вузе или после его окончания: уже упомянутый философ Эрик Григорьевич Юдин (1930–1976), один из трех основателей (с В.Н. Садовским и И.В. Блаубергом) научной школы системных исследований, был исключен из КПСС и арестован за то, что на партсобрании поставил вопрос о праве на информацию – речь шла о Венгерских событиях 1956 г.; историки Л.Н. Краснопевцев и Л.А. Рендель («университетское дело»), организаторы кружка «Союз патриотов», которые мало что старались адекватно прочитать Маркса – Энгельса: они выступали за право создания рабочих советов на предприятиях, за отмену 58 статьи Конституции, распространяли листовки. Я писала об этом кружке в статье «Время переломов», опубликованном в этом журнале в № 1 за 2023 г.

Эти воспоминания, даже скорее напоминания, оповещения о былом все же могут толкнуться однажды в чью-то взволнованную голову прежде, чем все это, как считал Николай Кузанский, свернется в точку, где не будет домов, улиц, фонарей и аптек, – вещи, как известно, сохраняются дольше их хозяев, воспоминания же, тем более их анонсирование – легкий

нематериальный налет на вечности, не имеющей конфигурации, ей все равно кто кого убил или оживил. Но пока мы живы, конфигурация времени все же зависит от нас. У меня, например, тоска по самой древней ничего по себе не оставившей древности, зато выпустившей нас на волю. Француз К. Романо написал книгу «Быть самим собою: другая история философии» [Romano 2019].

В университет мы поступали в год так называемого «хрущевского» набора: 20 % окончивших школу в этом, 1958 г., бывших десятиклассников и 80 % производственников и отслуживших в армии. Курс набирался после «дела Краснопевцева», получившего реальный лагерный срок, потому отбор был жестким. Проходной балл для бывших десятиклассников был 16, т.е. все четверки, что редкость для МГУ. Среди поступивших была Наталья (Наталья Ивановна) Куренкова (девичья фамилия, которую она потом сменила), отъявленная комсомолка, на третьем курсе вступившая в партию и проводившая четкую большевистскую политику. Когда Пелевин в «Generation "П"» писал о девяностых: «По телевизору между тем показывали» те же лица, «от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее», – то это было как раз о похожих на нее людях. Пелевин сказал грубее, но я веду речь о даме.

Курс разлива 1958 г. вообще как-то сразу разделился на две части. Бывшие десятиклассники были у всех, как кость в горле. На 2 курсе почти все по политэкономии социализма получили тройки, хотя на предыдущем курсе политэкономии капитализма были пятерки. На предложение пересдать ответили отказом все (многое пришлось бы заучивать наизусть, поскольку логики в изложении не было), кроме одного человека – Натальи Куренковой (впоследствии Басовской). Когда она пошла на пересдачу, мы смотрели ей вслед, как жены Лота.

Молодые и немолодые люди часто спрашивают, неужели такими жуткими были комсомольские собрания (недавно меня спросили об этом в медицинском центре глазных болезней, где я делала операцию), неужели нельзя было высказывать личную позицию по злободневным вопросам. О том, как проходило одно комсомольское собрание в 1959 г. или 1960 г. я рассказывала в статье «Инакомыслящие» [Неретина 2022: 385], оно как раз шло под фактическим руководством Басовской и касалась взглядов на «мир, труд, май» студента, который успел поработать на сибирских стройках и записать впечатления в записной книжке, которую зачем-то принес в университет и положил на полку под столом, за которым сидел. Каким-то образом эта книжка оказалась у комсомольского секретаря. А через какое-то время она стала основанием для его, скажем мягко, порицания.

Другой пример касался еще одного нашего весьма незаурядного сокурсника. Как всегда в перерыве между лекциями или семинарами мы стояли стайкой и обсуждали злободневные новости. Дело было весной 1961 г., когда решалась судьба Берлина: быть ему вольным городом или расколотым надвое. Студент не видел особой беды в разъединении и Берлина, и Германии вообще, ибо, как он полагал, Западная и Восточная Германия в принципе принадлежали к разным экономическим зонам – одна больше развита в промышленном отношении, другая в сельскохозяйственном. Кто-то донес в партбюро об этом суждении, и студента вызвали «на ковер», ибо в то время в верхах предполагалось, что Берлин должен единым свободным городом. Мы той же стайкой стояли под дверью партбюро и прислушивались, хотя двери были закрыты наглухо, только время от времени секретарша шныряла то в деканат, где был телефон, то обратно. Через некоторое время после того, как она вошла в кабинет последний раз, дверь внезапно отворилась, вышел растерянный наш коллега и сказал, что его, сперва покритиковав за странные размышления, в результате поблагодарили за верную оценку политической обстановки. Вопрос о статусе Берлина как раз в этот момент решился так, как предполагал студент.

Эти два случая и были реальным началом политического (но и не только политического – экзистенциального, морального, культурного) раскола внутри уже той части поколения, которая не просто признала гнусность сталинского режима, но необходимость изменения и выхода из двуличной позиции, в которой мы оказались.

С Куренковой (Басовской) у меня сохранилась обширная переписка. В 1961 г. я сделала попытку уйти с факультета: были личные причины, и среди них – невыносимость постоянной марксоидной оглядки. Я написала в деканат письмо с просьбой об отчислении, которое мне в конце концов вернули, позволив мне заниматься «латинской палеографией» в Ленинграде, где моим университетом стал Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Вот и случилась переписка. Она, староста группы студентов, занимающихся по кафедре истории средних веков, сообщала мне о каких-то мероприятиях, о том, когда состоятся экзамены (я приезжала их сдавать), переводила мне стипендию и сообщала о состоянии курсовой, а потом диплома. Переписка в отчетно-распорядительском стиле, чем и интересна.

Эти эпизоды я привела не только для того, чтобы конкретизировать способы деления поколения на оппонирующие подгруппы, но и для демонстрации возможности выпадения из массы индивида, ищущего вместе с тем сообществом, связи внутри которого, если оно случится, образуют лишь знаки разрыва с общей массой. На деле в найденном сообществе все особенные. «Собрание разных», скажет через некоторое время М.Я. Гефтер. Это, с одной стороны, рождало своего рода «зеркальность», т. е. все ту же свойственную массе реакцию на те или иные события, но с обратным знаком (автократия наоборот), с другой – высокомерие, которое тогда таковым не казалось, но оно определяло стиль отношения с несогласными: те, кто в будущем назовут себя демократами, считали правой свою и только свою позицию, отчуждая себя от наличного социума, т. е. реально тиражировали властные амбиции. Лишь немногие смогли жить независимо.

В России такая обособленность чаще всего образовывалась из-за огромной роли политики и государственного давления, с чем надо было согласиться или от чего отстраниться. Это было первым и долгое время единственным условием принадлежности к мажоритарной или миноритарной группе и образовало – если воспользоваться термином М.К. Петрова – культурный код, который состоял в пренебрежении благополучием, безопасностью, «грошевым уютом», в следовании принципам героики (в ходу песня, сложенная на стихи П. Когана «Пьем за яростных, за непокорных»). Это считалось жизнью на высших уровнях бытия, которых многие придерживались сознательно. Всех вели лозунги в силу самой сути лозунга: краткого выражения задачи этого момента и призыва к выполнению этих задач. На целину, на тяжелое дело освоения залежных земель многие ехали по зову сердца, по искреннему желанию. В нашем 10 классе несколько девочек, среди которых была и я, планировали после школы пойти работать на стройку, желая внести в рабочий класс свои знания и умения, культуру быта и книжность. Пошли в результате двое: Женя Часовникова и Тоня Томонкина. Про них написали книжку – «Такие не подведут» с обложкой, где они, высунувшись в окно, радостно и весело глядели в будущее. Подвели. Ушли через год с тяжелыми впечатлениями. Но этот же код породил и тех, кому «надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза», они стали равнодушными. Третьи оставались в душе со светлыми комсомольскими иллюзиями и жадной облагородить быт, впрочем, без жгучего желания испытывать физические трудности.

Комсомольский задор – не выдумка. О лживой жизни многих высокопоставленных комсомольцев, давно вышедших из комсомольского возраста, мы в то время знали или мало, или не знали ничего, и не потому, что были тупые, а просто в силу всепоглощающей молодости, жаждущей свободы, равенства, братства. Лозунги о необходимости догнать и перегнать Америку,

связанные с судьбой России, с повышением ее благосостояния, поисками правильного пути к нему, лозунги «атом для мира», «миру мир» играли свою роль, втягивая множество не самых худших людей в систему отлаженного и, казалось, очищавшегося после XX съезда механизма государственного строительства. Впрочем, со временем «догнать и перегнать» стало восприниматься иронически. В ходу был анекдот: на одном грузовике плакат «Догоним и перегоним...», на другом – «Не уверен – не обгоняй!» Такие лозунги, если не включать внутренний механизм критики и ostranenia, сплетенные с воспитанием готовности подчинения государственной системе и с хорошо налаженной школой державного патриотизма, легко и незаметно обеспечивают – в общем-то невозможное – «возвращение домой», по выражению Л.В. Петрановской, чего, однако, одни политики, желающие возродить советские идеалы, жаждут, а другие опасаются, справедливо ожидая репрессий.

Sancta simplicitas

Попытки возвращения, собственно, никогда и не кончались. Имя и портрет Сталина все время пытались водрузить на старое место, а идеи, связанные с его именем, по-прежнему внедрять в головы молодых людей. Стараниями немногих этого не произошло ни в Шестидесятые, ни в Семидесятые, и это подтверждает правоту выражения «и один в поле воин». Лен Вячеславович Карпинский, окончивший философский факультет и прошедший серьезный путь от комсомольского вожака (был одним из секретарей ЦК комсомола, членом редколлегии газет «Правды» и «Известий») до главного редактора «Московских новостей» – боевой газеты перестроечников, в момент, когда готовилась ресталинизация и едва ли не была уже подготовлена газетная полоса для портрета, на заседании редколлегии «Известий» попросил показать ему решение об отмене резолюций о культе личности, принятых на XX съезде партии. Тогда ресталинизации удалось избежать, но попытки остаются до сих пор.

В 1973 г., через несколько лет после разгона сектора методологии в Институте всеобщей истории АН СССР, в котором я работала, случилось так, что Карпинский пригласил меня к себе в редакцию научного коммунизма в издательство «Прогресс» (я долго стеснялась выговаривать название редакции). Но скоро мы стали иронизировать над этим. Так, в заявке на книгу М.К. Петрова «Язык, знак, культура» я ссылалась на слова Ленина, что-де коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память всеми теми богатствами, которые выработало человечество. В редакции Карпинского работали люди, с которыми мы долго были дружески связаны. В основном это были сотрудники разгромленного ИКСИ (Института конкретных социальных исследований): Д.А. Ханов, Г.Ф. Пархоменко, а с Т.Б. Любимовой, вскоре ушедшей в ИФРАН, мы дружили всю оставшуюся ей жизнь.

Это была странная редакция, в которой, по крайней мере, четверо перечисленных редакторов к научному коммунизму не имели никакого отношения (сам Лен меж тем преподавал эту дисциплину на сценарных и режиссерских курсах), из остальных часть принадлежала к старым коммунистическим бойцам, часть свое отношение скрывала. Мы так и делились на эти группы. Лен же, товарищ Ю.Ф. Карякина, директора издательства Ю.В. Торсуева, Ф.М. Бурлацкого, вместе с ними всерьез занимался планами будущего политического переустройства России и даже набрасывал список возможных будущих министров, каковой список у него, как мне сказали, и изъял КГБ, сняв листок с именами прямо с пишущей машинки. Лена сняли с работы, исключили из партии. Он довольно долго, чуть ли не до Перестройки, работал закупщиком картин и каких-то художеств для разных предприятий. Но вот что интересно: круг оказался действительно узок. Карякин в ИМРД работал вместе с А.П. Огурцовым, Карпинского, который дружил с моим мужем, сотрудником «Нового мира», я познакомилась с Гефтером (мне не понравилась одна из его статей, предложенных им в «Новый

мир», но я не решилась рецензировать, ибо была не моя, революционная какая-то тема, и я тогда свела их с Михаилом Яковлевичем).

Многих будущих перестроечников объединяла работа в международном и относительно либеральном журнале «Проблемы мира и социализма», располагавшемся в Праге. «Ленинские» взгляды многих из них («тиран Сталин все испортил») впоследствии стали еще одной причиной поколенческого разлада.

Переходность: пародии и танки

На все иностранно-легкомысленное и повсеместно исполняемое писались пародии. Чешская песенка «Как у нас в садочке», переведенная на русский язык, легкомысленная сама по себе, превратилась в произведение, на которое были направлены критические стрелы, подписанные идеологическими подпевалами или совершенно аполитично-аморальными куплетистами и направленные против безыдейной жизни «золотой молодежи». В этом «садочке», оказалось, пребывала некая Розочка, где было «жить ей сладко, / в доме танцплощадка / в комнате отца, / жоржики стильные, / любвеобильные / пляшут без конца».

Эти пародии воспринимались со смешком, как и сами песенки о «садочках». Но они сменили навязшие в зубах песни вроде «Кудрявая, что ж ты не рада / Веселому пенью гудка. / Не спи, вставай, кудрявая! / В цехах звеня, / Страна встает со славою / На встречу дня... / Бригада нас встретит работой...» Звонкая оптимистичная музыка Д.Д. Шостаковича долго сопровождала наши утренние подъемы. Но песенные цеховые гудки, с которыми мы реально знакомились на уроках труда, когда нас водили на завод им. Орджоникидзе, где представляли к какому-то станочку делать дырки на никому не нужной стальной пластине, что иногда воспринималось как оскорбление и всегда как бессмысленная трата времени, надоели хуже горькой редьки. И мы дивились, узнав, что стихи принадлежат репрессированному поэту Б.П. Корнилову, мужу Ольги Берггольц. Чуть позже мой иронически настроенный сын будет меня преследовать вопросами: «Ты любишь свой завод? Нет, почему ты не любишь свой завод?»

Были и «пародии наоборот», например, гениальная пародия Сергея Смирнова «Чего же ты хохочешь?» с героиней Порцией Уиски на «Чего же ты хочешь?» В.А. Кочетова, который пытался высмеять Е.А. Евтушенко, Витторио Страда и пр. Роман и пародия написаны на одном и том же русском языке, но это – разные русские языки с разными мерами опознания действительности.

А на статью Аркадия Первенцева в «Литературной газете», где он писал об испорченной молодежи, сделавшей центром своих безобразий Коктебель, тут же появилась пародия Зиновия Паперного, бывшего в то время для нас столпом свободомыслия. Пишу, как запомнила, опуская понятные рефрены:

Как у залива Коктебля
Такая чудная земля
Совхоза, ... колхоза, ... природа,
Но портит эту красоту
Ее порочащие тунейдцы и моральные уроды.
Девчонок вид ужасно гол,
куда смотрели комсомол
и школа, ..., и школа, ..., и школа.
Один купальник лишь на ей,
а под купальником у ей
все голо, ..., все голо, ..., все голо.

Сегодня парень в бороде,
а завтра где – в НКВД.
Свобода,..., свобода,..., свобода.
Сегодня парень водку пьет,
а завтра планы продает
завода, ..., завода, ... завода,
родного, ..., завода.

Коктебель действительно был центром сбора интеллигенции и студентов. Чтение стихов было обычным делом. Будто и приезжали туда, чтобы почитать стихи. Читали друг другу в домике у Г. Сапгира, на пляже, в парке Дома творчества писателей. Именно в Коктебель мы приехали с мужем, когда советские танки взорвали землю Чехословакии.

В то время многие – независимо от профессии и возраста – внимательно следили за происходящим в Европе, симпатизируя «Пражской весне» так же, как впоследствии польской «Солидарности». Знали, что лидеры СССР не допустят развала Варшавского пакта, и только гадали, где что произойдет. Летом 1968 г. мы ехали в автобусе по Молдавии. По дороге пылили солдаты.

– Запасники, – сказал муж.

– Откуда ты знаешь?

– У них гимнастерки на животе сбортятся. Новобранец так бы не смог: собрал бы складки сзади.

Когда приехали в Измаил, увидели, что по Дунаю шастали военные катера. «Румыния», подумали мы. Когда 21 августа прибыли в Коктебель, оказалось – Прага. С этого момента пошла другая, настороженная жизнь. Мой тогдашний друг, ныне покойный историк Владимир Николаевич Малов был в это время в Праге. «Еду в автобусе, – рассказывал он мне, – оглядываюсь, хочу кому-нибудь сказать: "Не все русские такие". Но кому скажешь – ни с того, ни с сего, да и страшно».

Оттепель вовсе не плавно перешла в застой – косную политэкономическую силу, ибо интеллектуальная (художественная, писательская, набиравшая силу философская – заработали семинары!) была мощным ключом. Анекдоты и слова, похожие на анекдоты: одно «членовозы» дорогого стоит.

С нападения на Чехословакию стало ясно: вновь накатило новое время. Оно катило волнами.

Тогда, в Коктебеле, Евтушенко, узнав о событии и взыв, побежал к телефону на почту выражать какому-то высокопоставленному свой протест. А потом написал стихотворение, датированное 23 августа 1968 г. и напечатанное спустя 21 год, в 1989-м, в альманахе «Апрель».

Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.

Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков <...>

Прежде, чем я подохну,

как – мне не важно – прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.

Пусть надо мной – без рыданий –
просто напишут, по правде:
«Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге».

Сплетенно-двойственное поколенческое существование превратилось во вновь расколовшееся напряженное существование, еще раньше усугубленное гражданской казнью Пастернака, получившего Нобелевскую премию за напечатанный за границей роман «Доктор Живаго», судом над Иосифом Бродским и Абрамом Терцем и Николаем Аржаком (Синявским-и-Даниэлем).

Я хочу подчеркнуть единственное число этой, как говорил Библиер, двойчатки. Речь не столько о «возвратно-негативной», по Дубину, связи между «старшими» и «младшими», а о единой нити мышления. Она или есть или ее нет, независимо от старших/младших. Конечно, есть и возвратно-негативный процесс, дихотомический челнок ходит туда и сюда, но в целом создает нечто одно, трудно делимое, никому в голову не придет раздвоить реально вставляемую в иглу швейной машинки нить. Все время надо делать какие-то едва заметные микропереходы. Разрывы внутри поколения проходили через множество капилляров, которые делали чужими людей, даже воспитанных в одной среде. «Мы с вами одни и те же книжки читали, Шекспира», – пробубнил молодой прокурор, когда меня вызвали в прокуратуру, выявляя друзей или сподвижников Сергея Дмитриевича Ходоровича, одно время возглавлявшего Русский общественный фонд Солженицына после его высылки. Что уж говорить о разнице между обывательским и активно-личностным отношением к происходящему. Обывательское отношение базировалось на признании стадности, ее девиз «быть как все», редкие дети не слышали его от родителей. И дети, слушавшие родителей, дававших им такой совет, поколенчески мало от них отличались. Здесь шла четкая трансляция знания, поведения, оценок, отношения от отца к сыну, где отец и сын по сути тождество; здесь действительно нет времени. *Логически* традиционно-профессиональное кодирование вообще исключает поколенческую составляющую, здесь реально воспитываются два в *одном*, род как одно, хотя *темпорально* это и может быть представлено как смена поколений.

Проблема поколения, безусловно, связана с проблемой лидерства, его признания и передачи достижений, как о том пишет Дубин. Это проблема XX в. Но и в XX в. лидерство и передача достижений важны для любой профессии, кроме философии, где признание связано не с достижениями. Здесь важны совершенно другие составляющие: удивление, ум, понимание, диалог, умение его вести. Трансляция знаний, безусловно, происходит, но они являются как бы пролегоменами к пониманию, которое вряд ли транслируется: это глубоко интимный процесс, связанный с внутренним изменением всего человека. Не ты захватываешь знание, знание захватывает тебя. Если брать поколение с этой точки зрения, то здесь нет старших и младших, как и нет соответственно конфликта отцов и детей. Впрочем, на мой взгляд, эта проблема изначально неверно названа, ибо и в том случае, с какого она обозначилась, с «Отцов и детей» И.С. Тургенева, речь шла не столько о дифференции между конкретными отцами и детьми, сколько о проблеме соотношения старого и нового образа жизни, т. е. дело не в возрасте. Отцами могут быть *все* люди, живущие обывательски, по дедовским заветам, а детьми – *все* обладающие способностью преобразаться (евангельские слова «будьте,

как дети» обращены к каждому человеку, даже старику). Именно этой проблемой, как кажется, на деле был озадачен Тургенев.

Сомнение в необходимости лидерства, поставленное нашим – философствующим – поколением, сейчас испытывают и некоторые политики, созидающие партию нового типа, требующие не лидерства, оставленного в XX в., а разумного менеджмента, управления с одной платформы разными проектами в условиях риска и неопределенности, представляющие организаторам проектов большую степень свободы в выборе решений. Можно предположить, что в создании такой платформы могли бы найти реальное применение идеи диалогии В.С. Библера, который в нашем вневедомственно сложившемся философском семинаре был не лидером, но несомненным авторитетом и дирижером. Цель семинара, который он вел несколько десятков лет, для его участников состояла в том, чтобы попытаться каждому в своей предметной области постичь логику мышления разных эпох (античной, средневековой, нововременной), показать его возможности, трудности и момент возникновения необходимости одного для другого.

«Я – работник и друг»

Это слова Норы Яковлевны Галь (1915 – 1991). Старшее «наше» поколение – боевое, умное, безоглядное – действительно умело работать и дружить. Сейчас обострилось время воспоминаний, архивных публикаций, время осмысления времени, вот и о Норе Галь вышла книга документов, важных для определения принадлежности «собранию разных» и для микроистории: биография, благодарности, отзывы на переводы (прежде всего Сент-Экзюпери), на постановки «Маленького принца» от самых разных людей: от пенсионеров и студентов до мощных профессионалов, плохие и хорошие.

Девиз Норы Галь: «Работаю с неслыханной охотой / Я только потому над переводами, / Что переводы кажутся пехотой, / Взрывающей валы между народами» (Б. Слуцкий). Девиз странным образом перекликается с «Воспоминаниями о войне» Н.Н. Никулина, которого она не знала, где погибающая пехота именно работала, взрывая валы.

Ее друзья: Фрида Абрамовна Вигдорова (мемуары о ней составляют своего рода книгу в книге), Раиса Ефимовна Облонская, дочь Эдварда Борисовна Кузьмина, внук Дмитрий Владимирович Кузьмин и все, кто написал воспоминания.

Нора Галь – псевдоним, который по сути не псевдоним, а, как она сказала, «просто сокращение: конец паспортного имени» (Элеонора) «и начало фамилии» (Гальперина) [Нора Галь. Мама Маленького принца... 2019: 15]. В этой книге разные разности, документальные бережно сохраненные материальные остатки человеческой жизни, пропитанные ее духом. Например, из издательских заявок на переводы – обширных, с раскрытием характеров героев книги, с доказательством необходимости и актуальности их публикации – можно судить о литературном процессе Франции, Англии, Америки, настолько серьезно, профессионально, деликатно и доверительно они пишутся, – о Дж.Б. Пристли, А. Камю, Р. Брэдбери, Х. Ли, Т. Драйзере, Э.Л. Войнич, Т. Вулфе, Н. Шюте и, конечно, А. Сент-Эксе. Из переписки с редакторами узнаешь, как исправляли огрехи в изданных книгах, придумывались тематические сборники. И, конечно, о долге дружества: «с уходом из жизни старшего поколения переводчиков-кашкинцев Нора Галь принимает на себя миссию – хранить их память, а для этого прежде всего надо напоминать читателям (и издателям!), что Хэмингуэй не писал по-русски, у многих книг, которыми восхищаются в России не одно поколение, есть и второй, по-своему не менее надежный автор» [Там же: 46]. Потом уже друзья Норы Галь предлагают издавать ее книги. Такая круговая порука – свойство этого поколения.

Однажды Эдда, с института дружившая с моим мужем, пригласила нас с маленьким сыном на день рождения Мити, когда тому исполнилось два или три года. Туда же пришел

и друг семьи – с бородкой, небольшого роста, – нежно общавшийся с мальчиком. Разговор зашел о детской литературе, и я высказалась в том духе, что вот-де мы читаем «Приключения Буратино» и «Волшебника Изумрудного города», подписанные именами А.Н. Толстого и А.М. Волкова, которые адаптировали истинных авторов – К. Коллоди и Л.Ф. Баума, имен которых на обложках нет. И этот человек сделал мне строгий выговор, прочитав на детском празднике почти-лекцию о семантических трансформациях в переводе, о том, что это вообще *другое* переложение. Трансформации, разумеется, были, поскольку их не может не быть в переводе, но, по-видимому, акцент был сделан именно на того самого автора-переводчика, «надежного автора», действительно вводившего читателя в более широкий мир, чем его собственная обитель. Стыд от этого выговора сохранился и по сей день, хотя и тогда, и тем более сейчас мне есть что ответить и по поводу двух авторов, и относительно смысловых переиначиваний – я всю жизнь этим занимаюсь.

В щепетильном отношении к слову, к чтению корректуры, к редакторской правке, в подробных объяснениях своих и редакторских вставок и изменений, присутствуют уважение и доверительность, хотя не со всеми оценками Норы Галь можно согласиться. Например, с отказом ввести в однотомник Брэдбери рассказ «Город» не только на основании того, что его мысль о преступлениях, которым нет прощения, выражена «в кровавых и натуралистических образах», но прежде всего потому, что она считала «вреднейшей ошибкой преподавать молодому читателю подробные описания вивисекции... гуманистический лейтмотив заглушают ноты... глубоко нам чуждые» [Там же: 67]. Все-таки кажется, что «молодому читателю» можно бы оставить свободу выбора (не говоря о том, что о вивисекции спокойно пишет сейчас Нобелевский лауреат О. Токарчук).

Это, конечно, еще одно выражение поколенческого слома: одной ссылки на вкус маловато, а вот идеологическая прищипка – сила. К тому же Нора Галь иногда употребляет когда-то обычные, но для иных из нас и в 1965 г. ставшие уже невозможными выражения вроде «пресловутого "свободного мира"». Употребляет, правда, защищая рассказ Брэдбери, который грозились выкинуть из сборника по фантастике, а потому не исключено, что она использовала их «по необходимости», так же, как я спустя почти десяток лет, предлагая к изданию книгу Петрова, ссылалась на слова Ленина. Как писала младшая дочь Фриды Абрамовны Вигдоровой А. Раскина, «Н.Я. не питала никаких иллюзий насчет Советской власти. Но, осуждая творившиеся вокруг беззакония, она не была диссидентом, не участвовала в публичных протестах. Придерживалась принципа: каждый должен делать свое дело на своем месте – то, что он лучше может и умеет» [Там же: 506].

То же говорит и внук Норы Галь Дмитрий Кузьмин, представитель другого поколения, наших детей, нынешних пятидесяти-шестидесятилетних, и всерьез другого направления мысли, однако не корневого, но более решительного. И это оправдывает мои предположения о смысловом единстве разных возрастных колен, благо что пара бабушка/внук – всерьез свидетельствует именно колено, род. На вечере памяти Норы Галь в 1992 г. Дмитрий, будучи еще студентом, говорил о необходимости бережно относиться к культуре и человеческой личности, потому что «и той и другой недостает» нынешним лицемерам: «смутное время, время дутых величин, первый на Родине сборник стихов Айги со снисходительно-растерянным предисловием Евтушенко (представьте на минуту: Пушкин с предисловием Бенедиктова), – ах, как весело будет смеяться потомкам, как горько приходится смеяться нам» [Там же: 465]. На следующее высказывание хотелось бы обратить особое внимание. «Вот прискорбное следствие давней декларации того же Евтушенко: "Поэт в России больше, чем поэт!" Страшное заявление – и потому, что больна та страна, несчастен тот народ, где поэту недостаточно быть просто поэтом, и потому, что "больше, чем" оборачивается в сущности "уже не"... Бабушка Нора не была больше, чем переводчиком... Она была Переводчиком – и только...» [Там же: 465].

Общество перевода

«Была Переводчиком». Уйдя в полемику о реваншизме графоманов, Дмитрий Кузьмин не заметил, что на деле определил эпоху, в которой и до 1991 г. (Нора Галь умерла на грани эпох: в год краха советской власти) и вплоть до настоящего времени переводчик был не только одним из родов литературной деятельности, но и все роды гуманитарной деятельности стали переводческими. Новые поколения переводят мысли Платона, Августина, Декарта, Канта в собственную мысль, укореняя их там и питаясь ими. Когда-то были, например, кантианство и платонизм как направления исследовательской мысли, сейчас – *общества*, раскрывающие культурный потенциал философских идей *для широкой аудитории*. Будто мы эти идеи щелкаем как орехи. И диссертации чаще всего защищаются о тех проблемах, которые поставил некий замечательный философ, о котором пишущий заявляет, как правило, что он *не претендует* на полное раскрытие идей.

Мы говорили, что у нас хорошая переводческая школа, знали переводчиков. Перевод был повсюду, была радиотрансляция, т.е. радиопередача, радиоперевод, учились английскому, чтобы понять песни Биттлз, исследовались различия в трансляции разных культур, ибо трансляция обеспечивала общение, ставшее особенно востребованным после многолетнего отрыва от мировой культуры. Борьба с «культом Сталина», синонимом тоталитарной системы, означала борьбу за *общение* – не только внутриличностное, источником которого является «живущее поколение людей», но и с природой, которая при одинаковых требованиях, предъявляемых живому, позволяет адаптироваться к ней людям с разными социальными установками, наборами знаний и механизмами их передачи или переустройства. К трансляции-переводу относится и обучение с делением учитель/ученик, и Нора Яковлевна, как следует из документов, этим хорошо пользовалась.

Очевидно, что «Культура вообще – не развлечение», но вот утверждение, что «поэт – всегда гражданин», что «далекие от любой социальности Мандельштам и Ахматова – куда больше граждане России и мира, чем наступивший на горло своей песне Маяковский...» [Там же: 465–466] можно отнести скорее к хлесткости и молодому задору Кузьмина. Что например, значит эта всеобщая – с прописной буквы – Культура, если это понятие стало всеобщим лишь в XX в. И хотя оно существовало с Цицерона как определение философии (*philosophia – cultura animi*), Амвросий Медиоланский в IV в. предложил забыть его, поскольку оно означало языческую традицию, в то время как Христос вечно нов. И на тысячу лет оно было забыто.

Но ведь и правда – что это такое: «поэт в России больше, чем поэт»? Тоже молодой задор! Что может быть вообще больше поэта, точно, в полном напряжении словесных сил сказывающего бытие. «Не знающий Гомера да не войдет!» – точно не войдет в Аристотелев Ликей. «Больше» для Ансельма Кентерберийского было указателем на Бога. «Бог есть такое Иное, больше которого нельзя ничего помыслить». Да и Библия написана стихами. Бог дал поэтическое слово. Поэт в *том* понимании действительно больше, чем в *этом*. Но вот всегда ли поэт – гражданин? Термин «гражданин», а им в древности мог быть только свободный, связан с *политическим* устройством, поэтами же могли быть и рабы (Федр, Эзоп), которые были свободны не политически, а внутренне, и эта внутренняя свобода определяла их поведение. В тех высях, в том одном, где пребывает поэт как родоначальник речи, где речь не подслушивается, а рождается, нет ни гражданина, ни раба. Нора Галь была внутренне свободна, именно это определяло ее способность добиваться вертолета для больного переводчика, переиздания сочинений друзей-переводчиков, переиздания книг и увековечения памяти Вигдоровой.

И Мандельштам, и Ахматова, и, разумеется, Маяковский, поэтический авторитет которого в те годы, когда писал Кузьмин, был поколеблен в немалой степени книгой «Воскресение Маяковского» Ю.А. Карабчиевского, в том же 1992 г. покончившего с собой, были граждане, разное болевшие за страну. Как и Карабчиевский. Он был другом Лины Тумановой, был моим другом, наши дети дружили. Мы с ним ходили в издательство «Наука» на просмотр фильма «Покаяние», который шел тогда по отдельным залам. И он тут же – отчаянный человек – высказался против этого фильма, считая его «птичий язык» (так он назвал символическую идею фильма) свертыванием настоящей проблемы. Мы с Карабчиевским носили передачи Лине, когда она сидела в Лефортово, он ходил к нам на библеровский семинар, где мы специально обсуждали «Воскресение Маяковского», эту книгу поэта о поэзии, настолько она была проблемной. О строчке Маяковского «Я люблю смотреть, как умирают дети» Библиер говорил: надо видеть и знать контекст, а мы набрасывались на него, считая, что само содержание строки распространяет в воздухе заразные бактерии. Никогда не отстранявшийся от социальных проблем Маяковский, был, разумеется, гражданином с весьма трагической судьбой. Не случайно Пастернак «Охранную грамоту» закончил эпитафией Маяковскому, жизнь которого испытала воздействие «нашего ломящегося в века и навсегда принятого в них, небывалого, невозможного государства», от тяжелого наступления которого уйти можно было только в смерть. Да и чем одним можно мерять меру гражданственности? Тем более я не стала бы столь решительно утверждать об асоциальности Мандельштама с его «Пора вам знать, я тоже современник, / Я человек эпохи Москвошвея», «арестованный медведь гуляет – / Самой природы вечный меньшевик» или «Попробуйте меня от века оторвать, – / Ручаюсь вам – себе свернете шею!» Строки же Ахматовой «Я была тогда с моим народом / Там, где мой народ, к несчастью, был» очевидно опровергают это утверждение. Причем они, Мандельштам и Ахматова, не только не далеки от *любой* социальности, но очень близки *своей*. Отношение к государству было иным, чем у Маяковского, но социальную реальность они черпали горстями.

Жесткость Кузьмина, родившегося в конце Шестидесятых, успевшего заразиться порядочностью, воспитанностью, ответственностью, дружеством, достоинством, отличавшим определенные круги поколения, к которому принадлежала Нора Галь, вызвана и реваншизмом литературных (и не только) спекулянтов, и брезгливостью к невежеству. Поколение Норы Галь отличало каждодневная профессиональная *работа*, преобладающая над бытом, тем более работа со *словом*, которое может быть живым и мертвым («Слово живое и мертвое» – не переводная, а собственная книга Норы Галь), тождественным *истине*, принадлежащей не прошлому, но *выраженной* в прошлом и представленной в иносказаниях. Так, названия томов энциклопедических словарей можно прочесть озадачивающе «Евреи до Железников» или «Гравелат до Давенант», «почти в точности повторяя два имени героя романа А. Грина "Дорога никуда"» [Там же: 495]. Это-то и составляло *быт*, от которого некуда деться, поколения. А. Раскина рассказала именно о таком быте, о том, что такие отношения со словом, со смыслами слова, с его тропическими (от слова «троп») возможностями, были в порядке вещей, действительно возвращая культуру мышления, к которой обращаются друзья и даже квартирный кот, приходящий к Н.Я. за духовным общением и, как правило, «лежащий на письменном столе рядом с пишущей машинкой» [Там же]. Лингвистические игры и головоломки, криптограммы и рифмы, шарады и «пазлы» были жизненной необходимостью. Кто бы при загадывании слова «пощечина» «с лёту сочинил такую изящную фразу», как «фрак апостол перемазал: видно, запонки желтеют» [Там же: 499]?! Одни только рифмы к «Европе» («С чем рифмуется Европа?/ Начинаем без поклепа, / Без экзотики и трепа, / В два прилопа, в три прихлопа, / Не с попа, так хоть с распопа?/ С Аввакума протопопа...») смогли бы организовать всех знатоков и любителей литературы с XVII-го по XX век.

И если говорить о семье как ячейке-передатчике традиционных связей, то не о той, что базируется на квази-патриотической платформе, а на платформе живой жизни слова [Там же: 484].

Свои – чужие: застой

Про застой тоже много написано, т.е. про закручивание гаек, как говорили, во времена Л.И. Брежнева, начавшееся – особенно – после подавления «Пражской весны». Демонстрация семерых против такого вмешательства на Красной площади 25 августа 1968 г. (Л.И. Богораз, П.М. Литвинов, В.Н. Делоне, К.И. Бабицкий, Н.Е. Горбаневская, В.А. Дремлюга и В.И. Файнберг) произвела шок. Почти невозможно было представить себе горстку безоружных людей против набросившихся на них людей в форме. В 1986 г., не в 1968-м, мы с маленькой дворнягой Митричем пошли на Красную площадь 9 мая, когда гуляющий народ был разделен линиями солдат во избежание беспорядков. К нам подбежал патрульный офицер и потребовал с собакой убраться. Мы убрались, но я помню холодок в сердце от его слов. Здесь же – одни на площади, пахнувшей кладбищем и тюрьмой...

Мир застоя, или развитого социализма, фактически оформился принятием новой Конституции СССР в 1977 г., в которой была закреплена однопартийная система, а народ скопом стал называться советским. Я помню, как в журнале «Природа», не желая переносить политинформацию, посвященную Конституции, на другой день из-за неявки докладчика, я вызвалась рассказать о ней, забыв при перечислении ее «достоинств» упомянуть пункт про новую общность. Наш художник, П.Г. Абелин, тут же напомнил об этом, считая, что это статья направлена против антисемитизма. Вопреки его желаниям, однако, антисемитизм никуда не делся, но из Конституции все же убрали пятый пункт и давали возможность евреям уезжать в Израиль. Гражданская активность в это время возросла: изменения советского строя уже жаждали не только литераторы, но и ученые (естественники и гуманитарии – Сахаров, В.Ф. Турчин), поднималась волна недовольства и в так называемых «автономных» республиках, особенно в среде бывших переселенцев. Этому способствовала и развязанная СССР война в Афганистане, от которой мы правдами и неправдами спасали наших подростков сыновей.

Но бунтов стало больше, за которыми следом шли какие-то странные послабления. Бульдозерами и водометами растерзали неконформистскую выставку художников (мы были в Беляево вместе с десятилетним сыном), восстановленную этими художниками тотчас – в квартирах почитателей и соратников: у меня дома три картины из дома на Рождественском бульваре, а уже через год мы выстаивали очередь в павильон «Пчеловодство» на ВДНХ, где она была официально открыта.

О застое были прекрасный цикл песен Галича о Клим Петровиче Коломийцеве. Я их все помню, но особенно «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира» Галич – драматург, песни драматургически выстроены. Речь о том, как к знатному рабочему Клим Петровичу, работавшему в цехе по производству колючей проволоки, передовом, надо сказать, цехе – он добивался для него звания Цеха Коммунистического труда, – приехал порученец и повез его на митинг, передав заранее заготовленную речь для выступления. Клим Петрович так об этом рассказывает:

Приезжаем, прохожу я на сцену,
И сажусь со всей культурностью сбоку.

Вот моргает мне, гляжу, председатель:
Мол, скажи свое рабочее слово!

Выхожу я,
И не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:

"Израильская, – говорю, – военщина
Известна всему свету!
Как мать, – говорю, – и как женщина
Требую их к ответу!

Который год я вдовая,
Все счастье – мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!.."

Тут отвисла у меня, прямо, челюсть,
Ведь бывают же такие промашки! -
Это сучий сын, пижон-порученец
Перепутал в суматохе бумажки!

И не знаю – продолжать или кончить,
В зале, вроде, ни смешочков, ни вою...
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
А кивает мне своей головою!

Ну, и дал я тут галопом – по фразам,
(Слава Богу, всегда одно и то же!)
А как кончил -
Все захлопали разом,
Первый тоже – лично – сдвинул ладоши».

Меня, когда я это вспоминаю, и сейчас давит смех.

В литературе оформились идейные направления: «военная проза», «деревенщики», «городская проза», «историческая проза», «молодежная проза», «фантастика». Братья Стругацкие и братья Вайнеры шли как бы отдельным жанром. Все это выдавало напряженную работу мысли, слова, дела, исподволь меняющую действительность. Появились очень сильные писатели-очеркисты, которых привлекала злоба дня (Ю.Д. Черниченко, А.А. Аграновский), документальная литература (Д.С. Данин, который заведовал кафедрой кентавристики в РГГУ, Л.Э. Разгон), на телевидении возникла программа «научный театр» (И.М. Губерман, И.И. Дуэль). Тогда на телевидении была поставлена моя пьеса «Четыре дороги к истине», где о восстании Этьена Марсея в Париже 1356 – 1358 гг. рассказывали четыре хрониста: Жан де Венетт, Нормандский аноним, Жан Фруассар и Пьер д'Оржемон. До сих пор жалею, что не опубликовала эту пьесу в книге «Воскресение политической философии».

Из рук в руки передавали произведения Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, конечно, Оруэлла «1984», у меня был перевод Миши (Михаила Константиновича) Петрова, утраченный во время ожидания обыска и ныне, к счастью, изданный. Огромный резонанс произвели «Зияющие высоты» А.А. Зиновьева: философы, начавшие консолидироваться в группы, тоже не выдержали, к тому же книга оказалась под стать литературным произведениям, показав «из какого сора» возникает внутренняя философская жизнь.

Когда еще романы и повести многих из тех писателей, которых я перечислила и не перечислила, трудно или даже невозможно было найти в книжных вариантах (компьютера еще в помине не было – до девяностых еще двадцать лет) – я выдирала из журналов мне нужное и, казалось, нетленное и переплетала как отдельные книги. Среди стихов – вдруг – старые вирши Пастернака, публикацию которых готовили его сын Е.Б. Пастернак и Г.Г. Суперфин, который в 1974 г. станет работать в «Новом мире» и, являясь сотрудником «Нового мира», будет арестован то ли за «Хронику текущих событий», то ли за помощь А.И. Солженицину в «Красном колесе», то ли за сборник материалов об аресте А.И. Гинзбурга, Ю.Т. Галанскова, А.А. Добровольского, В.И. Лашковой, в общем – все за ту же «антисоветскую агитацию и пропаганду». В стихах страница вздрагивает от пастернаковского внушения «опомниться, надеть башлык и выйти / к другим, к потомкам, как из забытья». Стихи, написанные в 1928 г., вновь ожили в конце шестидесятых, пригодившись не только «Маньке из обувного»: поэт осознал себя живущим «в мире в первый раз, на вас и вашу прелесть глядя».

Снова Пастернак, и снова разрыв: настала эпоха, почему-то (видимо, все-таки из-за косной власти) названная застоем, но в которой действовали обогащенные и возмужалые духом насельники оттепели. Конец эпохи драматизировался обещанием Ю.В. Андропова искоренить (пересажать, выслать) всех диссидентов.

Сейчас любопытно посмотреть на свои книжные полки, где рядом лежат фотокопии, ксерокопии, какими-то путями прибывшие зарубежные издания и, наконец, типографски изданные книги одного и того же сперва недозволенного, а потом дозволенного в СССР автора; лежат рядом журналы в одинаковых обложках: прежде реакционные «Огонек» и «Октябрь» с теми же, но повернувшимися на 180° «Огоньком» и «Октябрем». Такой набор уже мало кого интересует. Ибо «никакой сущности у него [мира] теперь не было. Во всем царила страшноватая неопределенность». И хотя Пелевин написал это о поколении, родившемся от шестидесятников XX в., но ведь и шестидесятники в нем до сих пор участвуют, играя не решающую, но и не малую роль, раз до сих пор говорят о пенсионерах, якобы мешающих жить по-новому. О пенсионерах говорят как о целом поколении, в то время как оно фатально разделено. Те же, кто еще помнит оттепель, внутренне подавлены: мир в хаосе, или в той точке, по Кузнецу, где все смешалось и еще не настало время разворачивания.

«Нетерпение» Трифонова (о забытом и едва ли не проклятом сейчас А. Желябове) начинается: «К концу семидесятых годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна».

Роль микроистории в определении качества жизни

Моя память переполнена вещами, которые принадлежат ведению микроистории: кухонными драками (вторая половина 1940-х), когда кричащие сумасшедшие женщины, готовые поубивать друг друга, швырялись кастрюлями, летавшими над головой, а немногие мужчины, оказывавшие к этому времени дома, их ловили. Это напоминало игру в лапту. Быт и бытие множества семей были совсем иными, чем в то же самое время в окружении Норы Галь, – от невозможной скученности, переполненности этих самых кухонь людьми, не знавшими другого способа жизни. Когда посадили за воровство нашего соседа Юрку Чуму, его все жалели: безотцовщина, а Фрося, мать, работает, «убивается», с ним не справляясь.

Это было время, когда действительно еще были поколения, были – уж точно – мамы и дети, которые должны были этих мам слушаться, иногда случались и папы (у многих отцы погибли); могли быть бабушки и дедушки. Няни были в очень высокооплачиваемых семьях; мы видели детей из таких семей в начале ул. Горького. В нашем районе даже мысли о няне

ни у кого не возникало. То, что я сейчас упоминаю о нянях, – свидетельство, что я пишу в более позднее время.

«Факты свидетельствуют о том, что "реальный мир" в значительной мере бессознательно строится на языковых нормах данного общества. Не существует двух языков настолько тождественных, чтобы их можно было считать выразителями одной и той же социальной действительности. Миры, в которых живут различные общества, – отдельные миры, а не один мир, использующий разные ярлыки» [Сепир 1960: 77]. В таком случае любая целостная территория мира должна быть испещрена границами с берлинскими стенами.

Во дворе, вопреки Сепиру, соприкасались и понимали друг друга все жизненно-языковые разряды. Мы с сестрой ходили в шляпках и слышали в свой адрес слова, какие и сейчас я не употребляю. Эти же слова я услышала от своего тренера по легкой атлетике, когда, намного оторвавшись от всех в беге на 800 м., остановилась и решила из солидарности подождать остальных, а потом первой прибежать к финишу, потеряв при этом драгоценное время. Я об этой потере не думала, но о ней думал тренер, которому важны были спортивные результаты. В этом языковом вавилоне был ответ слабо понимаемых идей свободы, равенства, братства и столь же слабо понимаемого, но очевидно присутствующего диалога, не случайно эта теория приобрела вес именно в XX в. Я привела грубый пример, связанный с обценной лексикой, но и она имеется в виду М.М. Бахтиным в книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» [Бахтин 1965].

Сейчас сеть расставила свои ориентиры. Конечно, есть дети, родители, бабушки-дедушки, но в принципе возрасты и речи перемешались. Мой внук меня, отца и мать называет по имени. В приоритете – общность интересов, обмен знаниями, авторитет ума, не элит (слова Т.Б. Любимовой: «элиты много, а авторитет один» – конфликтуют с постоянным журнально-телевизионным указанием на некие элиты, которые постоянно опрокидывают здравомыслие), и не авторитет информации. Ибо мгновенно можно оказаться вне пределов досягаемости, просто потеряв мобильник.

Отношение к реальности, соответственно к поколениям начал менять кинематограф. Визуализация способствовала тому, что осязаемо сблизились прошлое и будущее, их представление перестало быть проблемой: они вот сейчас, на экране сначала белого киноэкрана, потом компьютера, мобильного, другого гаджета. Актеров стали называть именами их героев. Историю Александра Невского знают по фильму С.М. Эйзенштейна. Мы не только понаслышке знаем о нашем предке, но вот сейчас получили возможность видеть его таким же молодым или старым, как сам. Мой внук создал своеобразную классификацию: «Мы – разные, – сказал он, – а вы, черно-белые». «Как это?», – удивилась я. «А ты посмотри старые фотографии, они черно-белые». «А XIX век, когда фотографий не было?» – «О, они цветные – были картины...» При этом он не отрицает, что в его «мы» входим и мы, сохраняя в «разнообразии» черноту-белизну, ибо сохранили резкость суждений, стремление дойти до самой сути или «предельности оснований» и на том стоим.

Это черно-белое, конечно, обнажает различие между «нашей» ушедшей и «нашей» нынешней эпохой, но кадры захвата Зимнего, походов Фанфана-Тюльпана, походов викингов или беспримерного сражения Леонида с персами в Фермопилах рядоположены. Зритель оказывается в ближайшем соседстве не с костями и скелетами, а с живыми людьми, имея дело с одновременной реальностью. В этом смысле весьма показательны экзамены: студенты бегло рассказывают о содержании тех или иных учений, но на вопрос, когда это случилось или где о том сказано, часто затрудняются ответить. Воспоминания, вроде тех микроисторических событий, что я пыталась описать выше, сейчас идут в ряду этого же аудиовизуального ряда.

Реальности перекрещиваются. Нарративы о происшедшем тем и интересны, что они обнаруживают этот перекресток и пограничье, где нарратив, обозначая некое событие, «понимает», что описание – это не событие, даже не его срез, а *другое* его, столь же реальное существование, увиденное другими глазами, глядевшими в другие источники. Оба события возможны как *оба* события при наличии свободы суждения, меняющего представление о времени. Факт, т.е. нечто *уже свершившееся*, когда о нем *говорится*, становится со-временным, где вчера и сегодня начинают слипаться. Если «отделительный» падеж от существительного «вечер» означает «накануне сегодняшнего дня», т.е. прошедшее, то выражение «*сегодня* вечером» ближе к будущему времени. «Ни один момент времени никогда не мог бы перестать быть, и ни один момент никогда не мог бы стать другим моментом» [McTaggart 1927: 52–54, 62, 121–122]. Это ответ на вопрос, зачем нам надо изучать прошлый опыт – он в нас, хотя скрыт в памяти. Нашими языками говорят забытые предки.

В 1990-е годы у историков была дискуссия о роли микроистории относительно макроистории. Многие говорили, что микроистория, сколь бы значимой она ни была, является всего лишь функцией макроистории, ее частью, высвечивающей целое. Я не думаю, что этот взгляд верен. Более того, скажу, что он родом из тоталитарной истории. А микроистория – родом из уже сетевого мира, в каждом его мелком событии «копается анапест» (Пастернак). Капля уже целое. Не то, частью чего является эта капля, но капля сама как то целое, без которого она невозможна. Капля подобна точке: она вне и внутри этого целого. При сворачивании в точку всех вещей, точка вне целого, при разворачивании – внутри его. Вне Сети – тишина почти Гамлетовская. Каким-то образом в ту тишину можно попасть через тишину писания.

Динамика застоя, или «Пеньковая душа эпохи»

Художественная литература дала мощный анализ «нашего» поколения. Помимо опубликованного архива Норы Галь, можно назвать роман А.П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», о последнем военном поколении. Когда я прочла книгу, удивилась, что он тоже, как в нашем дворе, употреблял словцо «простонародье». Я, как и Чудаков (в куда меньшей степени!), записывала старые вышедшие из употребления, но каким-то образом всплывавшие слова: «карандух», «упундычился», «капуста осеклась» в смысле «отдала сок», «оговаривать» не в смысле лжесвидетельствования, а в смысле «не делать замечаний», «окапиться». Записывала и случайно оброненные выражения, соединявшие – случайно, конечно же, – две усеченные пословицы, создающие комический эффект типа «Бабушка вилами на воде писала». Даже перечислить трудно те необыкновенно динамичные черты эпохи при политическом застое, не сравнимые с затхлыми нынешними скрепами и жухлыми словами (вроде «сниккерснись») молодых и зрелых современников. Только такая динамика и позволяла идти сквозь, как определял Мандельштам, «пеньковую душу» идейных бюрократов, которые, впрочем, иногда оказывались оборотнями и не в худшем смысле слова.

В Институте всеобщей истории в секторе по подготовке «Всемирной истории» работал М.С. Восленский. Нас с Е.М. Михиной после разгона сектора методологии истории направили туда на работу. После разговора с Восленским вышли с твердым убеждением дела с этим человеком не иметь: в золотых очках, разговаривает вкрадчиво, осторожно. А через некоторое время оказалось, что он, будучи в командировке в ФРГ, стал невозвращенцем. Работал комментатором на радиостанции «Свобода» и написал книгу «Номенклатура».

Многие научились «жить по правде», обходя идеологические препоны: шли в рабочие, как Ю.А. Карабчиевский (1938–1992), в дворники, как его сын Аркадий (Аркан Карив, 1963–2012), преподавать языки. Но социальная и профессиональная жизнь большей части интеллигенции, не способной к таким радикальным переменам, зависела от идеологической

острастки. «Есть в США Пентагон, и мы присутствуем сейчас на докладе одного из его представителей». Так говорил А.Н. Чистозвонов, «не к ночи будь помянутое» имя, заведующий сектором истории средних веков в Институте всеобщей истории, на семинаре, где слушали выступление А.Я. Гуревича, одного из лучших историков страны. Однако способность, хотя и в другом направлении, идти за кем-то, примыкать к чьей-то позиции без рефлексии этой позиции сохранилась и в нынешних поколениях, родившихся от поколения Шестидесятых. Это все та же идеологически отравленная часть его, с которым, правда, уже произошли внутренние перемены. И не является ли бездумное следование авторитету особенностью любого человека, живущего в зоне универсально-понятийного кодирования, т.е. внутренне зависимого от общего (массы), даже если сам он считает себя отличным от нее? Умеем ли мы и по каким признакам, составляя оппозицию масса/отдельный индивид, отличить такого человека от «массового»? Разве только по участию в «комиссиях по нравственности», клеймящих людей *без анализа их взглядов* или не способных к такому анализу? Годится ли вообще такая оппозиция (масса/индивид) для характеристики человека, ибо известно, как он может мимикрировать?

«Масса, – говорил наш современник Ж. Бодрийяр (1929–2007) в «Паролях», – когда она стала объектом социологического исследования, уже была феноменом фрактальности, феноменом виртуальности и феноменом вирусности» [Бодрийяр 2006]. К массе в таком случае уже нельзя относиться просто, как к чему-то обыденно стойкому. Для Бодрийяра эта же проблема цельности актуальна и в отношении индивида, который, как объект исследования тоже оказывается, хотя и «полностью фрактальным, то есть не разделенным... но рассеянным, размноженным до бесконечности. По сути дела, в культурном отношении он уже клонирован, и ему нет смысла клонировать себя генетически... клоны в плане склада мышления и культуры у него, во всяком случае, уже есть – сегодня это не вызывает сомнений» [Там же].

Как возрастное деление может свидетельствовать только о биологической природе, что использует власть в нынешней ситуации, так и человек в разные моменты своей жизни может *быть* (как отдельно мыслящее существо) или *не быть* (принадлежать к массе), или *быть в сборности разных*.

Что было делать?

Те, кого сейчас называют Шестидесятниками и кто на деле равной составной частью входит в одно большое поколение, были интеллектуально жадные, читали и участвовали во всем, что можно и чего нельзя. Складывались «свои группы»: *щедровитяне* (те, кто ходил в кружок к Г.П. Щедровицкому); сектор Ю.В. Левады в ИКСИ; семинары Н.И. Родного, М.Д. Рожанского, Библера, Туровского; была группа историков вокруг М.Я. Гефтера (он называл их «мои молодые друзья»). С его благословения был создан журнал «Поиски» (одну из главных ролей в нем играл Арсений Борисович Рогинский), делавшийся втайне от всех, кроме КГБ. А.П. Огурцов, друг Гефтера, страстный книголюб, как-то спросил его: «Делать-то делаете, но где почитать?» Конспирология была свойственна многим.

Я ходила в семинар к Библиеру, и, дружа с ним, была одновременно очень дружна с Гефтером, что вызывало некое недовольство обоих, ибо они были друзья-враги. Гефтер был одним из создателей клуба интеллигенции «Московская трибуна». Он, редко лично на нем присутствовавший, просил меня комментировать происходящее на нем, особенно выступления Библиера и еще одного создателя «Московской трибуны», но я оказалась для этого негодной, и он эти «полномочия» передал другому. Люди старшего поколения были или полностью открыты друг другу, или не во всем доверяли друг к другу (иногда, скажу шепотом,

используя нечто вроде шантажа), их долго воспитывали в этом недоверии, и оно вольно или невольно пропитывало их. Иные из них сумели в будущем избавиться от такого наследства.

Поколенческий подход явно обнаруживает меру свободы от языка, пропаганды и идеологии, показывает, годятся ли универсальные концепции свободы для описания сознания разных поколений. Но считая себя свободным, поколение *инакомыслящих*, или, как называл себя Гефтер, *аутсайдеров* было в этом строгим, ригористичным, не терпящим возражений и не принимающим компромиссов. Оно было в чем-то не менее жестким, чем надзирающие органы советской власти. Разумеется, когда я говорю об идеологическом освобождении, речь идет о тех, с кем это действительно случилось, потому конфликты возникали не только внутри поколения, но и внутри каждой разорванной поколенческой группы «своих», внутри каждого из разных. Разрыв был такой силы (притом, что это продолжается много лет, с 1953 г. до сих пор), что впоследствии прежде близкие люди намертво расходились друг с другом (так разошлись «кружковцы» Краснопевцева). Нужно было пройти через венгерские события 1956 г., польские и немецкие возбуждения, вторжение в Чехословакию в 1968 г., через «самолетное дело»³, диссидентские выступления, чтобы воткнуться в Перестройку, когда выяснилось общее недовольство советской системой (подавляющего большинства) и – всем разойтись, оставив поле меркантильным, технократически устремленным, аморальным, властолюбивым, жуликоватым и попросту бандитским группам.

Диссидентские обращения к Западу означали не только просьбы о помощи, их цель – разрушить стену замалчивания происходящего в СССР. Это означало и самовключение в начинающуюся глобализацию мира. Но при этом возникала такая групповая сомкнутость (зерцало тоталитаризма), которая негласно препятствовала самостоятельному поступку. Такое однажды произошло с Линой Борисовной Тумановой (1936–1985), которую, очень больную, водили во круг Чистых прудов две дамы, убеждая ее, что она не имеет права сама по себе посылать письмо «на Запад» с призывом выступить в защиту высланного в Горький Сахарова. Она приехала ко мне, обескураженная и возмущенная попыткой лишить ее возможности личного самовыражения. Приводило это к разъединению собрания разных. К этому же вело опасение говорить искренне о несогласии с позициями своих друзей с риском остаться «товарищем отселенным» (был такой персонаж в фильме «Начальник Чукотки») и не справиться с таким отселением. Было и опасение не согласиться с уже сложившимся мнением о ком-то, кто ходил, например, под вывеской «демократ» или «либерал». Я помню собственное недоумение от разговора с В.Я. Лакшиным, которого считала несправедливо изгнанным из «Нового мира» в момент его разгона и которого в то время не печатали. Когда я работала в журнале «Природа», я позвонила ему и предложила опубликовать что-то из остававшегося в его архиве. И мы напечатали его статью «О деятельности В.К. Третьяковского-просветителя (Перевод книги о Фр. Бэконе)». У нас установились дружеские отношения, позволившие мне во время Перестройки (уже в Девяностые годы) прийти к нему в «Знамя», где он с 1986 г. занимал пост заместителя главного редактора, с повестью М.К. Петрова «Экзамен не состоялся». Он отверг ее, сославшись на ее якобы плохую стилистику и опершись на слова А.Т. Твардовского, сказанные по другому поводу о том, что часто хорошие темы излагаются суконным языком. Я обиделась за Мишу и попросила вернуть рукопись, но рукопись, оказывается, «пошла по рукам» сотрудников редакции, ее вернули значительно позже: так действовал «суконный язык». Помог Анатолий Иванович Стреляный, работавший тогда в «Новом мире»: он почти мгновенно ее прочитал (чуть ли не на следующий день после того, как я вручила ему повесть), предложил в родной журнал, получил отказ, но когда возникла возможность опубликовать в журнале «Дон», безотлагательно написал к ней прекрасное

³ Пытаясь перебежать на Запад, поскольку легально сделать это было нельзя, некоторые отчаянные люди (Э.С. Кузнецов, 1939–2024) пытались совершить побег, захватив самолет. Свою жизнь Кузнецов описал в «Дневниках».

предисловие. О достоинствах этой повести, равно как и о философском творчестве Петрова теперь после изданий его работ можно судить беспристрастно, но тогда страх, что «вдруг что-нибудь случится», не позволил авторитетному писателю взять на себя риск публикации. Определял ли Лакшин лицо поколения? Безусловно, но той его части, к которой принадлежать бы не хотелось, ибо налицо – ложный либерализм.

Неложное

Было ощущение блефа. Многие думали одно, говорили другое. Объявляли коммунизм через 20 лет, хотя не было и его первой стадии. Определяли в психушки здоровых людей, в тюрьмы – правозащитников. В 1970 – 1980-х гг. в СССР были самые умные дворники. Философа М.К. Петрова взяли на работу в Ростове-на-Дону с условием не ходить на работу. Дети, отцы которых были евреями, брали материнские фамилии. Молодому человеку, сотруднику Института всеобщей истории, подавшему в комитет комсомола заявление о выходе из этой организации, доброжелательно говорили: подождите немного, вот будет собрание, и мы вас исключим. Они даже не понимали, что это – разные акты: выйти из организации и исключить из нее. В редакции научного коммунизма, а значит – и *атеизма*, мы умудрились издать расширенный вариант «Науки и нравственности», в которой заглавную роль играла статья А.С. Арсеньева о *христианской* морали. Научный редактор русского издания В.И. Толстых кричал на меня: «Я в ЦК пойду», – и стучал по столу. Я пожимала плечами. Все книги А.Я. Гуревича были опубликованы, потому что на требование цензоров положить их вот сейчас на стол редакторы отвечали, что забыли рукописи дома.

И все эти противоположные акции происходили в одно и то же время.

Презрение к «грошевому уюту» вместе с тем порождало – одновременно с высокомерием – пренебрежение к себе и отношение к себе как к средству. Я хорошо помню некую Лену, которая, будучи приговоренной к *ссылке* за диссидентскую деятельность, требовала для себя *тюремного* или *лагерного* срока: диссидент должен сидеть. Все это было искренним, но работало и на авторитет внутри «своих», а потом даже на авторитет среди, если не чужих, то людей нейтральных, внутренне сочувствующих, но интуитивно понимающих, что так дела не делаются, ибо они напоминали тимуровские игры с печальным исходом. «Одна против такой машины?» – удивлялись в онкологической больнице соседки по несчастью только что выпущенной из лефортовской тюрьмы Лины Тумановой, когда она вынуждена была рассказать им, почему ей все анализы делают без очереди. Безусловно, за свободу слова можно отдать жизнь (примерно так говорил Вольтер), помня, однако, о том, что нельзя ее отдавать только во имя признания «своими», щеголяя удалью и невнимательным отношением к себе самому. Это тождественно тому отношению к людям, которое всегда выражало российское государство: человек был расходным материалом, который должен был лечь костями в фундамент великих побед. Риск – великое дело. Он вообще, как говорят латиняне, присущ делу, *alea inest in re*.

Что высветило диссидентское движение? Термин «движение» стал привычным, хотя, на мой взгляд, именно он нуждается в определении. Сейчас интересно наблюдать, как пишут иногда о себе люди, волею судьбы покинувшие родину. «Я диссидентом не был», чаще всего сообщают они, «но мне (ему, ей) не давали возможности печататься, снимать фильмы, исследовать это, говорить то», т.е. уезжали от невозможности свободно жить. Даже Гефтер, вдохновитель «Поисков», за которые посадили его друзей, называл себя, повторю, аутсайдером, не диссидентом. Реально диссидентами можно считать тех, кто активно и сознательно действовал против советской власти, воззваниями, книгами, действиями побуждая узнать то, что

знать запрещалось. У Лины Борисовны, например, при обыске забрали том Ницше, который теперь печатается тогда, когда пожелает издатель.

До сих пор говорить о Лине больно. Для нее философия и жизнь были нераздельны. В 1970 г. она защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Понятие свободы и необходимости в философии Гегеля», участвовала в затеянном Библером «Споре логических начал», где выступала от имени Лейбница [XVII век 1991]. После смерти были опубликованы ее перевод книги А.Н. Уайтхеда «Приключения идей» [Уайтхед 2009] и сборник работ «Свобода и разум. Избранные философские работы» (М.: Канон+, 2010)⁴.

Она умерла дома, после недолгого пребывания в Лефортовской тюрьме, куда попала за диссидентскую деятельность, хотя не была функционером этого движения, постоянно подчеркивая свой личный интерес к правозащитному движению. Назревшие за годы тотального засилья идеологии и одной-единственной доктрины проблемы требовали разрешения в немалой степени с помощью личного вмешательства человека. Лина была одним из таких людей, действовавших свободно и логически твердо.

«Есть много причин, заставляющих эпизодно вспоминать не столь уж давнее философское одиночество людей, выталкиваемых из жизни». Я написала это в 2008 г., но и сейчас повторяю то, что и тогда: «события последних лет показывают, что не столь уж состарилась память о тоталитарной эпохе, что пиар способен восстановить позиции всеобщей хоровой здравницы, фанатичного желания единой державы, единокровия и единокандидатствования» с фальшивыми переопределениями, хотя и с совершенно изменившимся социально-политическим климатом. «Мы потеряли великого человека», сказал Библер на ее похоронах. Она действительно отвечала наивысшим чаяниям своего поколения. КГБ прислало соглядатаев и к крематорию, и на поминки. Этот соглядатай, которого мы сумели опознать именно как соглядатая, читал на них стихи Ахматовой.

Бибихин, с которым мы работали в секторе методологии и этики науки, куда его пригласил Огурцов, счастливый этим сотрудничеством, первый, кто попытался понять то новое, неявное на фоне старых требований свобод, писал, что «определение понятий права, имущества, вины выносит систему права из рабочего режима в область интеллектуального выяснения, делает право не естественным образом жизни, а инструментом для особых нужд» [Бибихин 2005: 254].

О секторе Гефтера, имевшего к инакомыслию прямое отношение, я писала дважды: в 1990 г. в ж. «Вопросы философии» [Неретина 1990] и в своей книге «Точки на зрении» под названием «История с методологией, или Конец истории» [Неретина 2005]. Здесь мы познакомились и подружились с Линой, Библером, Арсеньевым. Из философов в нем непосредственно работал И.К. Пантин, который вместе Е.Г. Плимаком, Л.А. Филипповым и Ю.Ф. Карякиным доказательно обвинил в плагиате и доносах таких бывших столпов философского факультета МГУ, как И.Я. Щипанов и М.Т. Иовчук. То есть критически настроенных людей (если еще добавить Е.Э. Печуро) хватало. Но Лина и Гефтер, начавшие, правда, свою диссидентскую и аутсайдерскую деятельность после разгона сектора, представляли две ярко выраженные противоположные тенденции. Гефтер долго сопротивлялся возможностям стать даже аутсайдером, а Лина решительно включилась в диссидентское движение, Гефтер долго сопротивлялся связям с зарубежьем (это потом его окружало множество иностранных коллег: помимо того что он был инакомыслящим, он был известным историком), Лина же – сразу и без колебаний. После разгона сектора связей между ними не было (все-таки библе-

⁴ См. мои материалы к ее биографии в книге [Неретина 2008], мое предисловие к книге [Уайтхед 2009], предисловие Библера к книге [Туманова 2010], наши с В.Л. Рабиновичем слова памяти, опубликованные в этой же книге, и рецензию многолетнего друга Лины Борисовны Т.Б. Длугач в [Длугач 2011]. Т. Левина проводила несколько семинаров, посвященных Лине Борисовне.

ровский семинар, даже когда входил в секторский состав, был автономным, Гефтер приходил очень редко, выделил среди участников Ахутина, но тесного контакта между ними не сложилось). Но было упорное, мужественное соби́рание сектора и не менее мужественное отстаивание его. И даже провалившаяся попытка отстаивания кажется не менее эффективной, чем его работа: после крушения советской власти Михаил Яковлевич (М.Я.) стал членом консультационно-аналитического совета при Президенте России, хлопнул дверью этого совета после расстрела парламента (эти шаги были не только демонстративны, хотя это было в характере Гефтера, но и испытывали степень возможного перевода государственной вертикали в горизонталь народоуправства).

Гефтер был человеком, который на себе испробовал, вполне искренне, все жизненные возможности, предоставляемые советской властью: был активным комсомольцем, даже комсомольским секретарем, партийным человеком, который трудно стравивал с себя все эти шоры. Он об этом сочно написал в книге «Третьего тысячелетия не будет?» Но он нигде не писал, как он был растерян перед сталинским выпадом против космополитов. Как мне рассказывал Библер, как-то придя к нему, он спросил: «Володя, может, мы действительно в чем-то неправы?»

Я пишу сейчас об этом, чтобы показать способы, какими ломалось – что? мировоззрение? да нет – жизнь культурных, образованных, интеллигентных людей, обладающих мощным порывом сделать жизнь достойной. Они и стали потом, уже после войны, круто их перелопатившей (см. вышеупомянутую статью Ахутина и Берлянд), нашими учителями. И именно поэтому «строк печальных не смываю» (эпиграф к статье Ахутина «Дело Библиера»). Они много говорят не только о «могучей работе совести, сознания и ума», как Ахутин охарактеризовал эту вылазку Библиера, работавшего в СМЕРШе, из болота окутавшей его – мир – сталинщины, но о самом этом страшном давлении на землю со всем ее живым и неживым.

В книгу «Точки на зрении» я добавила очень важный эпизод с обвинением Гефтером (при соучастии коллег-историков) акад. М.Н. Тихомирова и С.С. Дмитриева в буржуазном эпигонстве, что для того времени обеспечивало последним, по выражению Дмитриева, «варфоломеевскую ночь». Хуже всего было то, что обвинители выступили под псевдонимами. В «Литературной газете» 20 октября 1948 г. была опубликована рецензия «Грубые ошибки в "Хрестоматии по истории СССР"», подписанная «Р. Самойлов», а статья (в той же «Литературке» от 19 февраля 1949 г., озаглавленная «По стопам буржуазных историков») была подписана «А. Громовым». Рецензия и статья принадлежали на деле Гефтеру и А.Я. Грунту, которые упрекали, прежде всего, Дмитриева, в объективизме, забвении принципа партийности в науке, отступлении от марксистской идеологии и либерально-буржуазных взглядах. В то время это автору или составителю критикуемой книги обеспечивало конец карьеры, может быть, места работы или того хуже.

Я поступила на факультет в 1958 г. и видела там Дмитриева, одного из немногих ходивших в профессорской шапочке, так что, слава богу, его миновали репрессии, но не страх. О том, зачем было Гефтеру и Грунту брать русские псевдонимы, тоже понятно: иначе о публикациях и думать было нечего. «Р. Самойлов» – псевдоним, образованный из имени и фамилии жены – Рахили Самойловны Горелик. То, что написано все это было в начале космополитической кампании, придает этому событию особый колорит. Дмитриев в дневнике пишет об этом. Из прямой дневниковой речи вырастает нестерпимый ужас – не рассказ об ужасах, а сам экзистенциальный ужас – от разворачивающегося «космополитизма», от готовящихся, а затем состоявшихся проработок. Ужас возник после того, как наш же преподаватель Петр Андреевич Зайончковский сообщил Сергею Сергеевичу по телефону о статье в «Литературке», как он, еще не читая, начал гадать, кто автор («А. Грунт? Гефтер? Аврех? Или еще кто-нибудь из их друзей?») [Неретина 2005: 18]. Кампания была хитроумной и направле-

на якобы не только против «космополитизма», но и против «буржуазного объективизма», поскольку критиковались как бы все – и евреи русскими и русские евреями, правда, взявшими русские псевдонимы. Это была зловещая идеологическая шутка, поскольку сохранялась видимость справедливости. Эффект от русских псевдонимов, которыми был наполнен XX век, усилил борьбу с «космополитами» и сделал их к тому же презренными. «Космополит безродный», так их назвал К.А. Симонов.

Михаил Яковлевич, Библер и многие другие были заложниками оголтелой веры в идеологию. Они все прошли войну. Библер работал в СМЕРШе: был приказ, отказа не приемлющий. А что такое СМЕРШ, знают все. Работа была всякой, не только переводческой, хотя попал он туда именно как переводчик. Труд выбраться оттуда после войны можно назвать титаническим. И можно представить себе, сколь тяжек и одинок был их путь к той высоте, на какой оба в результате оказались, обретая возможность своею жизнью стать примером другим.

Вышедшая в 1970 г. в свет статья «Под видом научного поиска», беспардонно шельмующая подготовленный Гефтером сборник «Историческая наука и современность» и прежде всего шельмующая авторов с «пятым пунктом», горьким эхом отозвалась в душе Михаила Яковлевича. Становится более понятной его последующая опека тех его всенародно покаявшихся молодых друзей (считалось, что они должны были продумать меру своих возможностей, вступая на диссидентский путь), поскольку своего грехопадения он не забывал: когда были опубликованы дневники Дмитриева (после его смерти) и Глеб Алексеев, бывший сотрудник сектора, принес номер журнала Рахили Самойловне, она, едва взглянув, тут же спросила: «Дмитриев?» То есть эта рана не заживала в душе.

Долгое молчание М.Я. после разгона сектора (аккуратного разгона – тогда все старались делать аккуратно, если могли: с работы не выгоняли, просто запикивали в места, где для тебя не было работы, сектор переименовывали и вливали в какой-то другой) можно объяснить и горечью этого переосмысления, и чувством страшной старой вины.

Сектор методологии истории формировался во время оттепели, когда все бурлило и шумело: множество политических «дел», открывавшихся в то время, было спровоцировано этим внезапно обрушившимся шумом. С 1956 г. прошло чуть менее десятка лет, но руководящая роль партии оставалась еще много лет, до 1991 г., хотя многое изменилось внутри самой партии. Разброд был очевиден. Появлялись на заседаниях или собраниях прошедшие ГУЛАГ бывшие активные члены ВКП(б), например, Алексей Владимирович Снегов, который, еще не реабилитированный, был приглашен Н.С. Хрущевым на XX съезд партии. Спустя 10 лет он выступил в Институте марксизма-ленинизма в защиту опубликованной в 1965 г. книги А.М. Некрича «1941. 22 июня», материалы которой были (по опубликованным источникам) подготовлены для инициированной Гефтером многотомной «Всемирной истории»⁵. Я видела его в 1967 г., когда он приходил в бурлящий Институт истории: выход книги Некрича вызвал сенсацию, причем сенсационным было не только само критическое исследование подготовки к войне, но массив документов, собранных под одной обложкой: он ошеломил читателей настолько, что, повторю, *опубликованные* прежде, однако, разрозненно то тут, то там появлявшиеся документы, а ныне собранные воедино, спровоцировали верховных деятелей КПСС на очередную ложь: в книге они увидели преднамеренное извращение и самого хода подготовки к войне, и – это основное – линии партии и государства, что работало на руку прежде всего зарубежным антикоммунистическим силам. На защиту Некрича встал и партком (партийный комитет) Института, что впоследствии и стимулировало его раскол надвое: на Институт истории СССР и Институт всеобщей истории. Причем дело

⁵ План этого издания, был раскритикован, и материалы некоторых авторов были опубликованы как книги. Степень их глубочайшего профессионализма свидетельствует книга А. Каждана «Византийская культура» [Каждан 1968], до сих пор сохраняющая свое значение для историков, философов и филологов.

доходило до курьезов: в один из этих страстных для Александра Моисеевича дней он должен был жениться на молодой сотруднице нашего же Института, красавице Наде, работавшей научно-техническим сотрудником в секторе Утченко, и в день бракосочетания посылал к ней друга предупредить об опоздании. Мы тогда сравнивали его с Наполеоном.

Но в то время появлялись не только скрываемые документы о событиях Тридцатых годов, в основном 1937 г., но и «пропащие» люди, например, панфиловцы, о которых недавно было столько шума, о были и небылицах панфиловской дивизии была публикация в «Новом мире». По секрету мне Гефтер рассказал, что к академику Минцу приходил некий старик, от-рекомендовавшийся Чапаевым, который поведал Минцу историю своего спасения и что его может опознать некто (были названы имена), кто знает его секретные слова. Но потом этот человек пропал. Правда/вымысел этого сообщения не исследована.

С открытием сектора методологии в 1964 г. стало ясно, что «общая методология», под которой в то время понимался марксизм-ленинизм, именно тогда и прекратила свое существование. Для многих ученых она стала всего лишь завесой, под прикрытием которой развивались культурология, социология, системный анализ. Усилиями не мечтавших о марксизме ученых (Ю.М. Лотман, С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, А.В. Михайлов) произошло одно из великих возрождений гуманитарного знания, и эти ученые будут выступать на секторских семинарах.

Сектор (как и секторы Левады, В.Ж. Келле, группа Щедровицкого, М.Б. Туровского) был одним из *опытов консолидации интеллигенции* нового типа, не скрепленной идеями социального характера, а базирующейся на этико-правовых основаниях как культурная сила. В микросоциуме сектора ставились в центр исторического внимания проблемы не культа, а просто личности, волюнтаризма, тоталитаризма, а основной темой было исследование *альтернативности* (разновариантности) исторического процесса. Книга, изданная в 2019 г., «Философия во множественном числе» [Философия 2019] – потомок того времени.

За 5 лет существования сектора было проведено множество дискуссий (это было основным видом работы) по проблемам методологии истории, проанализированы методы исследования социальных революций и теории общественно-экономических формаций, соотношение всемирной истории и истории отдельной страны, естественнонаучного и гуманитарного знания, плюсы и минусы циклических теорий исторического процесса. Были организованы внутри сектора научные группы (источниковедения под руководством С.О. Шмидта, социальной психологии под руководством Б.Ф. Поршнева, структурного анализа и типологии истории под руководством М.А. Барга, медиевиста, не пришедшегося, как А.Я. Гуревич и я, ко двору сектора истории средних веков), заслушаны доклады Вяч.Вс. Иванова, А.А. Зиновьева, Г.С. Померанца. Перечень имен дорогого стоит!

Для современного читателя это – нормальные темы нормальной работы нормального коллектива научно-исследовательского института. Но в этом и дело: это были темы, впервые возникавшие как «нормальные» – не идеологические и не догматические. Вне опыта группы Гефтера и ей подобных (см. выше), структуралистских школ Ю.М. Лотмана и Вяч.Вс. Иванова, веселых, приветливых, чрезвычайно серьезных школ, собиравшихся на оз. Кярику, где мне посчастливилось быть и подивиться той обстановке доброжелательности, которая, конечно же, была заслугой Ю.М. Лотмана, не произошло бы той огромной культурной и человекообразующей работы, помогающей сопротивляться в том числе и нынешним абсурдным ненаучным поползновениям, уничтожающим творчество, *растлевающим*.

Гефтер при фабрикации его «дела» принял на себя не только груз обвинений, но и грязи. Его имя склоняли на всех собраниях и заседаниях – от Института до ЦК КПСС. Создавались бесчисленные комиссии, ворошившие и старые издания и готовившийся сборник «Ленин и проблемы истории классов и классовой борьбы», за выпуск которого отвечала я и ко-

торый не увидел света. Я даже не уверена, что макет вернули М.Я. Однако впечатление от блестящего им собранного коллектива было таково, что обсуждали и осуждали его, М.Я., не пренебрежительно, а почти подобоострастно, что казалось омерзительнее любых обвинений, презреннее открытой вражды – на рубеже 1960 – 1970-х формировался слой людей, равно готовых поддерживать как либералов, так и консерваторов. В это время выработывался жизненный аморализм, переданный и части нынешнего поколения. Оттого М.Я. предпочел уйти из Института, продолжая интенсивно работать, чему свидетельством уже множество его книг: «Из тех и этих лет», «Там, где сознанию узко и больно», «Третьего тысячелетия не будет», записанные на магнитную пленку разговоры (фактически – семинары) с его «молодыми друзьями», расшифрованные Г.О. Павловским. Его никто не выгонял, он работал в секторе А.З. Манфреда, который после раздела Института истории стал заведовать сектором истории Франции. Гефтер сказал мне⁶: «Я там был несколько раз на заседаниях. Душно. Тоскливо».

Я не буду посвящать читателя в перипетии сопротивления разным формам давления, сославшись на раздел «История с методологией, или Конец истории» в моей книге «Точки на зрении», где к изложению самой истории добавлена и часть личной переписки, а также к моей статье в журнале «Vox», посвященной 100-летию Гефтера, сопровождаемой публикацией писем Гефтера ко мне. Назову только основные формы давления: это, прежде всего, давление со стороны СМИ (статья А. Корнилова, Н. Прокопенко, А. Широкова «Под видом научного поиска» привела в действие все механизмы давления), это научно-организационные формы давления, грозившие сотрудникам и авторам книг если не увольнением, то нежелательными переводами в другие отделы и, конечно же, – слухи о «подрывной» работе группы историков «из окружения Гефтера», задумавшей якобы организовать бойкот XIII Международного конгресса исторических наук. Люди тратили силы на осуждение на ходу выдуманных проблем. Давление на некоторых историков было, но со стороны совсем других сил. А.Я. Гуревичу, например, запретили присутствовать на Конгрессе, и его иностранным читателям пришлось его разыскивать не в стенах МГУ и даже не на Ленинских горах.

Мы, конечно же, испытывали растерянность от того, что незаконнорожденная мысль, о которой чуть позже скажет М.К. Мамардашвили, оказалась не в состоянии примириться с законнорожденной, настолько последняя была примитивной. Этим я могу объяснить поход в перестроечную власть и чуть позже тех (того же Гефтера), чья интеллектуальная горечь не удовлетворялась признанием близких, друзей, коллег. Ибо желание показать свои возможности перерастало рамки локальных групп. Впрочем, было и тщеславие...

Некоторые сотрудники Гефтера ушли от него, опасаясь травли. Осталось ядро. Но: держались вроде бы вместе, и уже врозь. По-разному думали и о политическом будущем и принципах общественного устройства. Остались некоторые дружеские связи и некоторые деловые. Деловые – с людьми, которых, как он говорил, в сектор бы заново не взял. Что мы могли бы сделать, если бы сохранились? Мой прогноз неблагоприятен. Поскольку начались внутренние разногласия, появилась даже нетерпимость, то скорее всего издали бы свои так и не вышедшие книги и разошлись.

Когда я монтировала хронику сектора методологии, реально сконцентрировавшую в пределах одной структуры историю советского общества 60–70-х годов XX в., историю моего мира и моего поколения, я хотела представить ее в подробностях потому, что есть, как говорил Пастернак, бог деталей, который заставляет подмечать то, что другой не заметит. Как, например, хороших людей, не желавших ни защищать, ни глумиться над Гефтером, втягивали в его дело и вытягивали из них не шедшее ему на пользу. Зачем, например, С.Л. Утченко, античнику, было читать и выносить приговор «Ленину и проблемам истории классов

⁶ Меня тогда «определили» в Архив МИДа к послу Костылеву, где мы ножницами вырезали из центральных газет сведения о проходивших в 1920–1930-х гг. процессах.

и классовой борьбы», которых он чурался даже в том виде, в каком их препарировал Гефтер? Он волей-неволей давал, скажем так, некую нейтральную оценку, которую легко можно было засчитать в минус Михаилу Яковлевичу. Михаил Яковлевич попросил меня незаметно вести протокол обсуждения. Утченко заметил и уныло сказал: «Ну, зачем писать?»

Тоталитарность – это не только повсеместный глаз государства, она обязывала и собственные глаза присматривать за чужими. В этом мы не были другими. Только герой способен выколоть себе глаза. Растление делало свое дело. Совок, в том числе и как термин, формировался на наших глазах и нами, наряду с обозначениями отношений к определенным вещам: «Софье Власьевне», «совдепии», «Лукичу», «иконостасу» (портретам членов Политбюро), «протокольной роже», «лапе» (протекции). Краткий толковый словарь брежневского СССР содержит и такие понятия, как ээк, импорт, овощебаза, неликвид, дефицит, авоська, очередь, приписки, фарца, штурмовщина и др. [Краткий толковый... 2017].

История наша была проиграна. Бывшие друзья становились оппонентами, которые прерывали споры не всегда научными окриками. А поскольку делали это авторитетные люди, многие попадались на удочки такого авторитета без проверки доказательств. Когда однажды такого авторитета попытались проверить в не менее авторитетном журнале, количество поддержек зашкаливало. На ТВ были передачи, где бывшие друзья по разного рода демократическим союзам обвиняли друг друга во вранье. Разумеется, можно назвать это неудачами, но лучше назвать болезнью века, атавизмом одного-единственного мировоззрения. Взгляды и внутренне-эмоциональные разногласия были такой взрывной силы, что Гефтер, не желая усиливать позицию одного из коллег, которому прежде помог, не взял в сектор Гуревича, а потом и вовсе написал отрицательную рецензию на проспект его книги «Человек в истории» [Гуревич 2004: 108]. Все эти мелкие разборки (битвы приоритетов) ранили людей, они становились едва ли не врагами, хотя делали одно дело. Могло ли оно быть успешным? Самое близкое мы и не знаем...

Память связана с пониманием. Когда я в далекие уже Восьмидесятые впервые стала писать историю с методологией, к тому времени тоже уже далекую, я, просмотрев свои записи и архив, который Гефтер долго держал у меня, позвонила одной из его старших сотрудниц и спросила, так ли я понимаю смысл одного из ее выступлений. Ответ ее меня ошеломил. Она сказала: так, но лучше бы найти заверенный протокол партсобраний, где обсуждались все эти дела, ибо это – документ. Но ведь протокол – не стенограмма, это хотя и заверенная, но все же краткая косвенная речь, тогда как моя прямая и выражает *мое*, а не протокольное понимание...

В 2017 г., т. е. спустя более тридцати лет после того разговора и забыв его, я написала – с использованием заметок Огурцова – главу для книги «Апории дискурса», которая называется «От апоретики и паранепротиворечивой логики: к докладу и отчету» – *отчету* (почти протоколу!), в который сворачивается живая речь, превращаемая в ритуальный текст и документ. Разными путями возвращается старое. Если бы Амвросий в IV в. полагал, что новое – это уничтожение старого, то мир и не знал бы, что Христос всегда нов. Он нов на фоне старого. Он переключал внимание и значит – переключал время.

Диссидентское движение переключило время. Оно обеспечило кадрами Перестройку – с ее пестротой, с разными партиями, с идеями, как нам обустроить Россию, с выборами, выступлениями Сахарова, с выявленным злопыхательством злопыхателей. А те, кто говорил, что он может все поставить на ноги, вскоре потерял кредит доверия. Их слушали, даже восхищались. Но Галича помнили: «Он врет. Он не знает, как надо».

Крах современной государственной модели: рефлексии на нашу жизнь

Смена государственного статуса, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений. Мы не думали, что советская власть и КПСС рухнут при нашей жизни. Участие в митингах, обсуждение социально-политических проблем, радость от выхода на свободу одних политзаключенных и протесты против удержания других – все это воспринималось как начало новой политически регулярной жизни, начало очередного нового мира, тем более что для философов термин «начало» – завораживающий термин. Сейчас мы, очевидно, присутствуем при полном крушении *того* нового мира 1960-х и при постоянном реформировании и *этого* нового мира первой четверти XXI в.

Крушение коснулось, однако, романтической увлеченности революционными преобразованиями, как старыми, так и новыми, и нравственных установок. Недавно кто-то про кого-то сказал: «Он непорядочный человек». Его визави, лет на 30 его моложе, ответил ему: «Вы пользуетесь какими-то неясными понятиями».

Норвежский социолог Й. Галтунг разработал теорию структурного насилия, которое представляет собой способы (невидимого) подавления личности, оно осуществляется чаще и эффективнее всего через СМИ с помощью таких символических формы существования, как религия, идеология, литература, которые его внедряют. Длительное время насаждавшаяся система воспитания вырабатывала, по выражению В.Б. Шкловского, такой «автоматизм восприятия», который не способствовал остраивающе-необходимой рефлексии происходящего. Такое насилие норвежский социолог Й. Галтунг назвал структурным, поскольку оно создается социальными институтами, оказывает огромное влияние на культуру и самоидентификацию народа, испытывавшего такое влияние, и воспитывает «такие способы (стереотипы) действия и поведения, которые становятся как бы обычными и непринужденными, «правилами для руководства» ума или эмоций» [Неретин 2024: 87]. Нас долго воспитывали в тоталитарном духе, и большинство из нас сейчас обнаруживает это блестящее воспитание.

До 20-х гг. этого века миру, в котором мы живем, присвоили имя гибридность, хотя старое имя «принципат» не хуже в смысле обозначения политической сущности, правда, оно не содержит даже оттенка ни петрогосударства, ни коммерческого государства, ни, конечно, институтов сетевых структур. Этому миру присущи цифровизация, выражениями которой, наряду с высокотехнологичным производством, стали рост социальной напряженности, возникшей как следствие социального неравенства, разного доступа к образованию, в том числе цифровому, обезличенности в любых сферах деятельности: люди в маске, когда нет лица, сериалы с одинаковыми сюжетами, неиграющими актерами, бесконечные безумные суды и странные войны, каждая из которых, милитаризуя сознание и делая убийство нормой, становится тотальной. Во всем этом было задействовано старое, советское поколение и первое несветское, родившееся от наших детей, но участвующее *на других основаниях*. Если первые создавали эти технологии чаще всего *из любознательности, стремления к науке*, то вторые не в последнюю очередь за деньги, которые нередко называются «кровью общественной жизни», которые «циркулируют по телу социума, разнося по его "клеточкам" необходимые для жизни средства» [Любимова 2015: 4]. Если в «нашем» случае осознание репрессивно-партократической природы власти, ведущей к истреблению не только свободомыслия, но самой жизни, повернуло человека в сторону политики с желанием направить ее в цивилизационное русло, то сейчас политика вполне может быть отделена от сознания, человек способен *рассчитать* свою жизнь. Не ум, а расчет (ratio) – ведущее основание нынешней жизни.

Межпоколенческий разрыв, свидетелями которого мы являемся, – одно из выражений *обескураженности*, царящей нынче в обществе, изменивший во многом и личные отношения, и взгляд на государство, которое во многом и сейчас представляет собой *патерналист-*

скую модель социальной политики, в которой тоталитаризм не изжит, а «худшим последствием патернализма является рост социальной пассивности граждан, упование на государство как на высшую инстанцию в решении всех социальных проблем» [Сидорина 2013: 255].

Иногда социологи именно социальную пассивность, существующую и по сию пору в гибридном уже (почти петрократическом) государстве, рассматривают как основное качество государственной стагнации, забывая о новом качестве самого государства, которое в силу того, что добыча нефти не требует большой трудоемкости, становится независимым от налогов, независимым от народа, а потому способно пресекать его активность.

Почему-то иногда считается, что патерналистская модель государства «предопределена исторически, соответствовала особенностям российского менталитета» и в течение десятилетий «давала положительные результаты в разных областях социальной сферы» [Сидорина 2013: 257]. Но она и сейчас так же «предопределяется» верхами! К тому же что именно понимается под «положительными результатами» и в течение каких десятилетий – послереволюционных, сопровождаемых страшными репрессиями и чужих, и своих, долгих послевоенных, растянувших надолго восстановление экономики? Или это 60–80-е годы XX в., когда возникло разнообразное профессиональное диссидентство – экономическое в том числе, когда возникли сообщества, занимавшие относительно «государственного патернализма» жесткую критическую позицию, когда даже его защитники сами с собой не могли договориться, боясь утратить начальственные посты, о необходимых намечавшихся реформах? Я помню, как мой свекр, юрист, приглашенный участвовать в обсуждении реформ, намечавшихся А.Н. Косыгиным, пришел к нам – дело было в 1965 г. – и сказал: «Нам (как государству. – С.Н.) осталось жить 20 лет». Так оно и случилось к моменту прихода во власть М.С. Горбачева.

Альтернативных патернализму советских моделей не предвиделось, потому что их и не могло быть: коммунизм строился на века. И, видимо, именно из-за представлений о вечности коммунизма иногда делается вывод, что в период оттепели население вообще «не стремилось избавиться от патерналистской опеки государства», потому что «обрело, наконец, хотя бы относительное чувство личной безопасности» [Иванова 2011: 99]. Но вот так ли это?

Хрущев был Генеральным секретарем КПСС с 1956 г. по 1963 г. За это время, вызвавшее, напомним, оттепель, произошла выволочка художников на выставке МОСХа, осуждены на лагерные сроки или поселения историки, поэты, писатели, диссиденты, стиль своего соратника Косыгина Хрущев назвал «неленинским», а «валютчики» были расстреляны. Конечно, «население не стремилось», но оно редко когда «стремится», стремятся люди, каждый в отдельности, группами... Конечно, было сформировано *институциональное* отношение к труду. Художник или писатель обязан быть членом Союза художников, писателей или, в крайнем случае, «членом Литфонда», профсоюза писателей, как Пастернак. Все обязаны были быть к чему-то, как крепостные, приписаны даже к месту проживания. Сформировалось очевидным образом *полицейское* государство с жесткой паспортной системой. Про такое государство мало сказать, что в нем население было деморализовано тем, что в его сознание внедрялась «установка о труде как одной из основных жизненных потребностей», и что «десятилетиями советским детям вбивали в голову идиллические представления о возможной будущей профессии: космонавта, ученого, художника, летчика, разведчика, геолога, полярника и т.д. Матери мечтали, чтобы их дочери стали артистками, а сыновья – героями... никто не мечтал стать предпринимателем, бизнесменом, фермером, политиком» [Сидорина 2013: 273–274]. Кажется, эта позиция имеет косвенное отношение к философии или к науке, ибо упомянутые утверждения не опираются на соответствующие выборки... Ибо: помимо того, что проводилось нравственное растление людей, обязанных, как вспоминала Н.Я. Мандельштам слова З.Н. Пастернак, «больше всех любить Сталина, а потом уже меня», могу выдвинуть личностное возражение: моя мама очень не хотела, чтобы я стала актрисой,

как, впрочем, и философом: основания для такого нежелания лежали не в области престижа или его отсутствия. А М.Б. Ходорковский⁷, еще будучи школьником, хотел стать не просто предпринимателем – директором завода [Дуэль 2012: 139].

М.К. Петров, много писавший о традиции и поколениях, объяснял обращения к прошлому иначе, тем, например, что в кризисных ситуациях, в том числе при появлении новых проблем, возникает необходимость найти прецеденты или концепции, «позволяющие "понять" проблему... Обращение к прошлому, к истории всегда имеет для науки смысл... поиска опор для прыжка к пониманию и решению» [Петров 2005: 22–23].

Но если в «той» жизни за опытом прыгали, то в цифровую эпоху вопрос стоит иначе: в какой мере вообще нужен прошлый опыт, ибо скорости сейчас таковы, что целое можно как бы увидеть с высоты космического полета, а на самолете можно за сутки попасть на другой конец света, где иные обычаи, где можно укрыться от правосудия, где вообще оно другое, как и другие нормы быта?

О современном положении дел Петров не размышлял – он умер накануне появления компьютерных технологий и соответственно резкого отставания осмысления жизни от жизни фактической. «На правах постулата» он принимал за основу некую единую «матрицу фрагментирования корпуса социально-необходимой деятельности» [Петров 2005: 87], каждая клетка которой – имя и адрес «закодированной в знаке», т. е. «врожденной, деятельности»; отсюда происходит теория типов, идея безличного всеобщего. Отсюда же «религиозно-мистический характер европейских попыток найти всеобщее знаковое основание» [Петров 2005: 134].

Нынешняя глобализация, однако, не матрица. Откуда же ощущение полного отчуждения от прежней цивилизации или культуры?

В «Паролях» наш современник Бодрийяр пишет о том, что сейчас реальность стала виртуальной не в старом философском смысле этого слова, при котором предполагалось, что виртуальное стремится стать актуальным, а в смысле замещения и разрушения актуального виртуальным. Оно становится одним из вирусов. Чтение Бодрийяра в какой-то степени дает ответ на вопрос, стоит ли ждать помощи от прошлого. Он сравнивает такие поиски с Орфеем, «который слишком рано оборачивается, чтобы взглянуть на Эвридику, и в результате навеки отсылает ее в царство теней. Перед тем, кто прибегает к этому ретроспективному взгляду, работа выступает так, как если бы она предшествовала сама себе и с самого начала предчувствовала свой конец, как если бы она была последовательной и завершенной, как если бы она всегда существовала. Вот почему я в состоянии говорить о ней лишь в терминах симуляции» [Бодрийяр 2006]. Степень социологической истинности, содержащейся в такой позиции, неясна, но и не должна быть ясной, в ней содержится много направлений, которые надо тестировать. Бодрийяр полагает, что, хотя мы постоянно говорим о коммуникации, в реальном мире ее нет из-за того, что «вещи становятся слишком реальными», «некая таинственная сила приближает их к нам вплотную». Мы оказываемся в «чрезмерной близости к вещам, вследствие чего в нашем обществе непосредственной реальностью оказывается всё – и они, и мы... В такого рода мире уже нет коммуникации, зато имеет место заражение [*contamination*] инфекцией вирусного типа при бесчисленных непосредственных контактах. Или, если угодно, здесь царствует промискуитет: всё напрямую, никаких дистанций, ничто не очаровывает» [Бодрийяр 2006].

Когда в самом начале мы говорили об осознании в медицине мутирования вируса, это значит, что он пришел не просто надолго: он сама информация и деструктор информации.

⁷ Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

Под его воздействие попадает весь мир и государство, оснащенное новыми (пусть в малой мере) технологиями.

Не оказываемся ли мы в той же позиции, как перед нерасшифрованным линейным письмом А сокрушенной крито-микенской культуры? То есть мы оказываемся не наследниками утраченной в археологическом смысле культуры, хотя в чем-то знакомой, скажем, в начертании символов, а полностью новыми, неисторическими существами, приписываем свои знаки и символы другим, не зная их собственного значения. Мы могли бы прийти, как говорил Петров, «к безрадостным выводам о примитивности подавляющего большинства наших навыков, о безграмотном их фрагментировании» [Петров 2005: 133].

Но ответ Бодрийяра другой. «В политическом плане важно не смешивать два уровня поведения: фронтальную реакцию и незаметную со стороны разрядку... Реагировать – значит принимать меры, значит пытаться дестабилизировать систему» [Бодрийяр 2006].

В случае же с разрядкой дело обстоит иначе: разрядка предполагает, что нечто просто исключается, просто-напросто не принимается нами, что мы не боремся с ним и не испытываем никаких иллюзий относительно возможности его уничтожения – оно не удовлетворяет нас, и это все... Сегодня такого рода *abreacting*... знак того распространившегося в обществе глубокого недовольства ситуацией, которое характерно для людей, не видящих своего противника», люди-то в масках, «и которое не может получить достойного выражения в рамках критической мысли» [Бодрийяр 2006]. Сталкиваясь с неуловимым врагом, «нужно самому стать невидимым и неуловимым. И необходимо, чтобы вирулентность была присуща также и твоему мышлению. В этом выводе нет ничего пессимистического», ибо, утверждает Бодрийяр, «наша мысль, конституируя себя как вызов, должна соответствовать парадоксальности, неуловимости и алеаторности угрожающей нам системы... Мы слишком часто предаемся иллюзии, будто стоящие перед нами проблемы можно решить традиционными средствами – мы по-прежнему объединяемся в профсоюзы, протестуем, выходим на демонстрации, как если бы окружающий нас мир несколько не изменился» [Бодрийяр 2006].

Но зачем тогда обращение к прошлой культуре? Не исключено, что «зачем» – это неправильная постановка вопроса. Она просто уже впиталась в плоть и кровь и работает, направляя нас, *вот это* живущее поколение в разные русла, позволяя нам принимать разные решения, она сама «играет» как вирус.

Агамбен Дж. 2020. *Мысли о чуме*. – Доступно: <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-pesto>. – Проверено: 11.06.2020.

Ахутин А.В., Берлянд И.Л. 2020. Дело Библера. – *Вох. Философский журнал*. Вып. 29 (<http://vox-journal.org>). – С. 128–134.

Бахтин М.М. 1965. *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса*. – М.: Художественная литература. – 543 с.

Бибахин В.В. 2005. *Введение в философию права*. – М.: ИФРАН. – 345 с.

Бодрийяр Ж. 2006. *Пароли. От фрагмента к фрагменту*. – Екатеринбург: У-фактория. – Доступно: <https://www.litmir.me/>. – Проверено: 24.07.2020.

Гуревич А.Я. 2006. *История историка*. – М.: РОССПЭН, 2004. – 288 с.

Дуэль И.И. 2012. Судьба ЮКОСа – судьба России. – *Время и место. Международный литературно-художественный и общественно-политический журнал*. – Вып. 1.

Длугач Т.Б. 2011. Туманова Л.Б. Свобода и разум. Избранные философские работы. – *Вопросы философии*. – № 5. – С. 178 – 181.

- Дубин Б. 2002. Поколение: социологические границы понятия. – *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. – № 2 (58).
- Иванова Г.М. 2011. *На пороге «государства «всеобщего благосостояния»*. Социальная политика в СССР (середина 1950-х – начало 1970-х годов). – М.: ИРИ РАН. – 282 с.
- Каждан А.П. 1968. *Византийская культура X–XII веков*. – М.: Наука. – 233 с.
- Краткий толковый... 2017. *Краткий толковый словарь брежневского СССР*. – Доступно: <https://germanych.livejournal.com/>. – Проверено: 10.03.2025.
- Кроче Б. 1999. *Антология сочинений по философии*. – СПб.: Пневма. – 480 с.
- Любимова Т.Б. 2015. Война: судьба или злая воля? – *Вох. Философский журнал*. – Вып. 18 (<http://vox-journal.org>). – С. 1–18.
- Неретин А.И. 2024. Джампаоло Панса и его вклад в коллективную память итальянцев. – *Сила, насилие, культурная травма*. – М.: Голос. – С. 87–97.
- Неретина С.С. 1990. История с методологией истории. – *Вопросы философии* – № 9. – С. 143 – 151.
- Неретина С.С. 2005. *Точки на зрении*. – СПб.: РХГА. – 360 с.
- Неретина С.С. 2008. *Философские одиночества*. – М.: ИФ РАН. – 207 с.
- Неретина С.С. 2012. *Воскресение политической философии и политического действия. Парижское восстание 1356–1358 гг.* – М.: Голос. – 386 с.
- Неретина С.С. 2022. Инакомыслящие. – *Философские поколения*. – М.: Издательский Дом ЯСК. – С. 337 – 428.
- Нора Галь. 2019. *Мама Маленького принца. Неизвестный архив Норы Галь*. – М.: Изд-во АСТ. – 512 с.
- Петров М.К. 2005. *Язык, знак, культура*. – М.: URSS. – Доступно: www.libfox.ru. – Проверено: 05.07.2020.
- Сепир Э. 1960. Положения лингвистики как науки. – *История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях*. – Ч. 2. – М.: гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР. – С. 175–181.
- Сидорина Т.Ю. 2013. *Государство всеобщего благосостояния: от утопии к кризису*. – М.: РГГУ. – 349 с.
- XVII век 1991 – XVII век, или Спор логических начал / Отв. ред. С.С. Неретина. – М.: ИФРАН. – 152 с.
- Тищенко П.Д. 2018. Биография В.С. Библера как опыт радикального выбора себя. – *Вох. Философский журнал*. – Вып. 24 (<http://vox-journal.org>). – С. 71–75.
- Туманова Л.Б. 2010. *Свобода и разум. Избранные философские работы*. – М.: ИФРАН. – 536 с.
- Уайтхед А.Н. 2009. *Приключения идей*. – М.: ИФРАН. – 383 с.
- Философия 2019. *Философия во множественном числе*. – М.: Академический проект, 2020. – 529 с.
- Chartraine P. 1968 – 1970. *Dictionnaire étimologique de la langue grecque. Histoire des mots*. Т. I–II. – Paris: Klincksieck.
- McTaggart J.M.E. 1927. *The Nature of Existence*. – Cambridge: Cambridge University Press. V. II. – 332 p.
- Romano C. 2019. *Être soi-même: une autre histoire de la philosophie*. – Paris: Gallimard. – 768 p.